

Б И Б Л И О Т Е К А

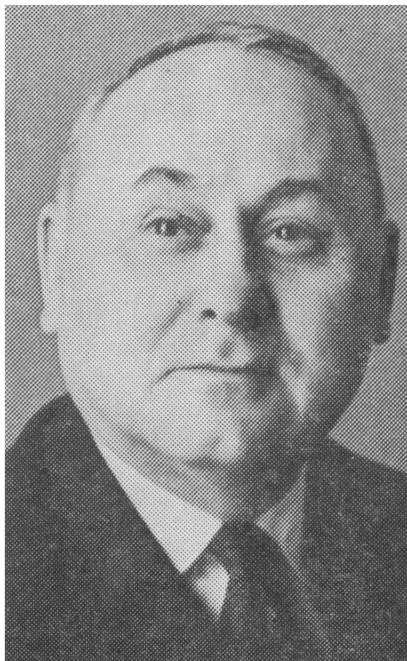
ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 49

1985



*Аркадий ВАСИЛЬЕВ*

М О С К В А  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»

**РАССКАЗЫ О ФРУНЗЕ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 49

---

Аркадий ВАСИЛЬЕВ

## РАССКАЗЫ О ФРУНЗЕ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1985

*Аркадий ВАСИЛЬЕВ*

*Аркадий Николаевич Васильев (1907—1972) родился в городе Шуе Ивановской области. В 1922 году по призыву комсомола ушел служить в военно-морской флот. После демобилизации трудился на фабрике. Был рабкором, затем сотрудником газеты «Шуйский пролетарий» и областной газеты «Рабочий край».*

*В послевоенные годы работал корреспондентом ТАСС, в «Правде», «Крокодиле».*

*Первый сборник сатирических рассказов и фельетонов «Бархатная дорожка» вышел в 1948 году. Его перу принадлежат также книги «Личное местоимение», «Хрустальная ваза», «Бывает, случается...», сборник памфлетов «Старая приманка» и другие.*

*А. Васильев работал и в историко-революционном жанре. Широко известна его трилогия «Есть такая партия!», в которую вошли романы «Смело, товарищи, в ногу», «Генеральная репетиция» и «Есть такая партия!».*

*Предлагаем вниманию читателей рассказы А. Васильева о юности выдающегося полководца гражданской войны М. В. Фрунзе.*

## ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

На всю жизнь запомнил Трифоныч первую ночь, проведенную в Иваново-Вознесенске. Прямо с поезда пошел он, как было ему указано, в поселок Ямы. Найдя дом Грачева, осторожно три раза стукнул в окошко.

Тотчас же открылась дверь. На пороге стоял молодой рабочий в черной сатиновой рубашке. Он внимательно и в то же время дружелюбно оглядел Трифоныча и сказал:

— Войдите.

В комнате Трифоныч увидел пожилого рабочего. Это был не большого роста, худощавый человек с большой, начавшей сесть бородой. Из-под густых бровей смотрели на редкость яркие голубые глаза.

Молодой рабочий запер дверь и сказал:

— Ну, давайте знакомиться. Семен Балашов. А как вас зовут?

Трифоныч ответил так, как ему было заранее указано:

— Трифоныч. Я к вам по делу. Говорят, у вас комната сдается?

— Сдается. Только не комната, а угол.— Балашов подал Трифонычу руку и, улыбаясь, продолжал: — С приездом! Очень рад. Познакомьтесь — Илья Михеич, подмастерье с Дербеневской фабрики.

Михеич крепко пожал Трифонычу руку и приветливо заговорил:

— Здравствуйте! Со счастливым прибытием в наши места! Наверно, устали с дороги? Умыться не желаете?

— Не мешает...

— Давайте я вам помогу.

Михеич завесил окно шалью, поставил на табуретку железный таз, вооружился ковшом и начал поливать на руки Трифонычу воду, приговаривая:

— Мы по легнему времени на дворе этим делом занимаемся, а сейчас поздно — лучше дома.

Пока Трифоныч умывался, Балашов расставил на столе чашки и, нарезая хлеб, посматривал на гостя.

Гость сразу понравился Балашову. Понравилась его внешность — приятное, чистое лицо, темно-русые волосы, подстриженные ежиком, живые серые глаза и над ними большой красивый лоб.

Балашов остался доволен и костюмом нового знакомого. Трифоныч был одет очень просто, но аккуратно. На нем была синяя сатиновая рубашка, черный пиджак. Темные брюки заправлены в невысокие сапоги.

Не успели они сесть за стол, как в окно тихо стукнули. Михеич приподнял шаль и спросил:

— Кто там?

Глуховатый окающий голос ответил:

— Илья Михеич тут квартирует?

Михеич обрадованно сказал:

— Да это Павел Гусев! Очень хорошо, кстати.

Балашов объяснил Трифонычу:

— Это из Шуи. От нас и тридцати верст не будет.

Павел, войдя в комнату и увидев Трифоныча, вопросительно посмотрел на Балашова.

— Знакомся, Павлуша, — сказал Балашов. — Это товарищ Трифоныч. Прибыл к нам на подмогу... Садитесь, товарищи! Чаю выпьем, поговорим.

Они проговорили всю ночь. Много нового, интересного для Трифоныча рассказал Михеич.

— Вы вникните в здешнюю жизнь, — говорил он. — Присмотритесь, как живут наши рабочие. Рабочий день у нас двенадцать, а иногда и четырнадцать часов. Придешь с фабрики, надо кое-что по дому поделать — дров наколоть, воды из колодца принести... Смотришь, дело к полуночи, а в три утра первый гудок — пора вставать. А как женщины наши, ткачихи, мучаются! У станка двенадцать часов топчутся. И дома все заботы на них. Обижены они хуже крепостных! Ткачу платят десять рублей, случается, и двенадцать набежит, а ткачихе, какая бы она ни была работница, пусть самая лучшая, все равно больше девяти рублей не заплатят. Вы поинтересуйтесь, как-нибудь придите к нашей фабрике часов в девять утра. Увидите, сколько к воротам грудных младенцев принесут матерям кормить. А дворовой приказчик у нас скотина: больше трех рабочих за ворота выпускать не велит. Младенцы голодные плачут, и матери плачут. Какое сердце вытерпит!.. Да как же нам не бастовать!

Балашов пытливо смотрел на Трифоныча, наблюдая, какое впечатление производит на него рассказ Михеича. Если бы Трифоныч начал перебивать Михеича различными восклицаниями, вроде: «Ах, как ужасно!» или «Возмутительно!» — это Балашову наверняка не понравилось бы. Ему не нужны были слова жалости. И молчаливое, сосредоточенное внимание нового знакомого пришлось ему по душе.

А Михеич все рассказывал и рассказывал:

— Мы всегда всем должны. Квартирной хозяйке за угол, в фабричную контору неизвестно за что, — наверное, за то, что живем на этом свете. Больше всех должны лавочнику Котову. Вон он какие хоромы поставил! И все за наш счет. Вчера сынки фабриканта нашего Никанора Дербенева в ресторане две тысячи пропили да на бильярде восемьсот рублей проиграли. Видал, какими деньгами бросаются! А ткачиха за девять рублей целый месяц спину гнет!.. На прошлой неделе ткачиха Анна Самкова послала свою девчонку в лавку к Котову за пшеном и мукой. Дала ей полтинник. Девочка шла посередине дороги. Как назло выбежал со двора Котова здоровенный такой пес, с хорошего теленка ростом. Девчонка испугалась, кулак разжала и обронила полтинник. Улица у нас немощеная. Упал полтинник в песок — попробуй найди его! А найти надо, потому что он последний, больше в доме ни полушки, и до получки еще пять дней. Попросила Анна у Котова большое решето — грохотом его зовут — и давай песок на дороге просеивать! Весь день мучилась, а полтинника так и не нашла...

Михеич, заметив, как внимательно слушает Трифоныч, продолжал:

— А когда безработица наступает, у фабричных ворот народ с полуночи собирается. Стоят по несколько часов. Ждут, ждут, а утром выйдет табельщик и крикнет: «Расходись! Сегодня нанимать не будем!»

Ну, и идут кто куда. А скорее всего идут к закладчику, вещи в залог сдать. Есть тут у нас один кровопийца. Я недавно с дружкой моим Иваном Мыльниковым ходил к нему. У Ивана жена заболела, а денег дома ни гроша. Ну, и понес он закладчику женин платок и будильник.

Принесли. Начал закладчик рассматривать полушалок на свет — нет ли пятен и, не дай бог, дыр. Посмотрел, смял в комок и бросил в корзинку. Потом начал медяками сорок копеек отсчитывать. Иван ему и говорит: «Очень уж мало даешь, Трофим Павлович!» А он как закричит: «Мало? Не бери!» И будильник швырнул прямо в лицо: «Куда мне его? Солить, что ли? Сорок штук на полках тикают. Не надо!»

Вот как мы тут живем...

Михеич мог рассказывать без конца. Он так бы и не ушел, если бы не Балашов. Семен приподнял на окне шаль и показал на розовеющее небо:

— Светает! Пора уходить, Михеич, а то неровен час на казачий патруль наткнешься.

Михеич с притворным изумлением воскликнул:

— На самом деле светает!.. А на улице-то благодать какая!

Он протянул руку в окно, сорвал густую ветку черемухи и подал ее Трифонычу. Черемуха была влажная от росы и холодная. Трифоныч

вспомнил родной Пишпек, мать и милых сестреноч. «Как-то они там без меня? Даже ведь не знают, где я...»

Михеичу явно не хотелось уходить. Свертывая сигарку, он попытался начать новый разговор:

— Ты меня, Сеня, казаками не страшай. Я их не хуже тебя знаю. Все их повадки мне ведомы...

Но Балашов был неумолим. Взяв Михеича за руку, он повел его к двери:

— О казаках ты в другой раз расскажешь. Не все сразу... Я тебя тоже знаю: хлебом не корми — дай только поговорить.

Михеич обиделся не на шутку:

— Ты хоть попрощаться мне дай!

Он ловко вывернулся из-под руки Балашова и подошел к Трифону:чу:

— До свиданья. Очень доволен приятным с вами знакомством. Не обессудьте за долгую беседу.— Михеич смотрел Трифону:чу прямо в глаза и торопливо говорил: — К нам сюда много разных людей заявлялось. Всякие были. Один совсем чурбаном оказался. Я, говорит, к вам ненадолго, у меня экзамен не сдан по многим предметам... Вы меня познакомьте, как живете-можете, а я, дескать, о вас в научной работе упомяну-с. А чего про нас упоминать! Живем известно как — день прошел, и слава богу. Раньше надеждой жили, что вот царь-батюшка вспомнит о нас, сиротах своих, да и прикажет благодетелям нашим, господам фабрикантам, каждому ткачу по полторы копейки жалованья прибавить. А теперь мы решили: ждать нечего, надо бастовать.

А один к нам сюда приезжал и все допытывался, сколько мы раз в месяц в баню ходим, что едим по воскресеньям, сколько рублей в год на одежду да на обувь тратим. Я ему как-то и ляпнул: «Бесплатно, мол, одеваемся: картуз из солдат принес, лапти сам плету, а пиджак с каторги. Только вот туза́, знак тюремный, со спины спорол».

Михеич крепко пожал Трифону:чу руку и, уже стоя на пороге, сказал:

— Вы на меня, старика, не обижайтесь. Я вам это все не в обиду говорю, а по душевному к вам расположению. Понравились вы мне. А о нашей жизни — поживете с нами и все сами увидите, что к чему. Только одно еще вам для первой встречи скажу: народ у нас здесь хороший живет, на неправду злой, а по правильному слову стосковался...

Когда Балашов, проводив Михеича, вернулся в комнату, Павел Гусев рассказывал Трифону:чу о Шуе:

— Меньшевиков наши рабочие терпеть не могут. Да их и немного у нас, всего несколько человек. Приезжайте к нам, мы вам наш город



покажем. Он у нас интересный. Разделен рекой Тезой на две части — на Заречье и на город. В Заречье домишки маленькие, улицы немногие; а в городе такие есть хоромы, хоть в столицу переноси. Так вот, меньшевики все на город поглядывают, на гимназистов, на соборных певчих, а мы в Заречье живем. Уж если говорить о противниках, то посильнее меньшевиков у нас эсеры. С ними нам немало придется схватываться...

Балашов вымыл чашки и накрыл их полотенцем, потом обратился к Трифону:

— Вы, наверно, спать хотите? Ты, Павел, где будешь ночевать — здесь или у Никодима?

— Пойду к Никодиму.

— Иди... А товарища Трифону мы во все наши дела подробно посвятим завтра. Как раз завтра будем обсуждать вопрос о забастовке.

Павел распрощался и ушел. Трифон тотчас же начал раздеваться.

Балашов, сам любивший чистоту и порядок, с удовольствием заметил, как гость аккуратно повесил рубашку на стул. Понравилась в поведении Трифона сдержанность. Балашов не выносил многословных людей и особенно тех, кто в дело и без дела употреблял ходячие выражения. И если бы Трифон сказал сейчас о Михеиче: «хороший, славный старик» или еще что-нибудь в этом же роде, то Балашов отнесся бы к этому со свойственной ему иронией, с которой он относился ко всем болтливым людям. Но Трифон, не скрывая усталости, просто сказал:

— Давайте-ка спать.

И Балашов так же просто ответил:

— Да, не мешает. Завтра я вас первым делом с «Отцом» познакомлю. Отдыхайте. Скоро отдыхать не придется — работы у нас будет хоть отбавляй...

Он быстро приготовил постель, поплотнее занавесил окно и, сняв с крючка старенькую тужурку, с непривычной лаской в голосе сказал:

— Вы ложитесь здесь, а я пойду в сарай — там у меня вроде дачи.

Выйдя во двор, Балашов обошел вокруг дома и, приоткрыв калитку, негромко свистнул. Из палисадника вышел Уткин.

Подойдя к Балашову, тихо сообщил:

— Все в порядке, Сеня. Совсем светло. Я, пожалуй, пойду.

Балашов посмотрел по сторонам и ответил:

— Надо подождать смены.

Уткин пытливо взглянул на Балашова и, кивнув головой на окно дома, спросил:

— Ну, каков человек?

Балашов обнял Уткина за плечи и задушевно прошептал:

— Плохого человека Центральный Комитет нам не пришлет. Я думаю, он нам здорово поможет.

В это время из ворот дома лавочника Котова вышла пестрая корова; за ней показалась жена Котова, которую Уткин за ее огромный рост прозвал «полтора Ивана».

Котова, подгоняя веревкой корову, прошла мимо и, не глядя, проговорила:

— Ай, хорошо! Одна скотина со двора долой, а другая домой...

Балашов взглядом остановил готового к отражению дерзости Уткина и ушел во двор. Он еще раз обошел вокруг дома и, проходя мимо окна своей комнаты, через открытую форточку, слегка отодвинув занавеску, посмотрел на Трифону́ча. Тот лежал, повернувшись лицом к стене. Над его головой в щелку бревна была воткнута подаренная Михеичем ветка черемухи.

«Спит», — подумал Балашов и, неслышно ступая, пошел в сарай.

Но Трифону́ч не спал, он долго не мог уснуть. По давней своей привычке, он перед сном всегда перебирал в памяти события дня, оценивал все, что говорили и делали другие, и все то, что делал и говорил сам. Он вспомнил, как накануне отъезда из Москвы беседовал с членом Центрального Комитета партии. С каким волнением Трифону́ч ждал этой встречи! Человек, к которому он шел на свидание, не раз сидел в тюрьме, бежал с каторги и, самое главное, совсем недавно нелегально приехал из Женевы, от Ленина. Трифону́ч ожидал встретить (почему — он и сам не знал) высокого, рослого человека с семью волосами и с громким голосом. Член Центрального Комитета оказался хотя и немолодым, но совершенно обычным на вид, простым человеком, с небольшой бородкой.

Маленькая комната в домике, приютившемся в тихом переулке, настольная лампа и стаканы с крепким чаем на белоснежной скатерти — все располагало к задушевной беседе.

Беседа такой и получилась — простой и ясной. Член ЦК хорошо знал тяжелую жизнь ткачей. Он многое рассказал Трифону́чу и еще больше расспрашивал его сам. Он не навязывал своих советов, а мягко, почти незаметно, давал понять, что надо будет делать:

— Владимир Ильич говорит, что самое главное — организовать рабочих для прямой борьбы с самодержавием...

Внимательно слушая и запоминая каждое слово, Трифону́ч почувствовал новый прилив уверенности и силы.

— Вы едете в благодарное место. Иваново-вознесенцы — замечательные люди. Вы попадете в горячее время. Скоро там начнется большая забастовка. Но хочу вас предупредить: иваново-вознесенцы сходятся с новыми людьми туго, не сразу. Дело не в излишней подозрительности, а в том, что к ним иногда по ошибке попадали любители пышных фраз. А там народ ждет больше всего дела...

На прощание член ЦК совсем уже по-отцовски сказал:

— Ну, одним словом, благословляю! Будьте осторожны. Помните: вы в Иваново-Вознесенске партии очень нужны. Соблюдайте все правила конспирации.

И вот сегодня, ночью первый раз в Иваново-Вознесенске, Трифону́ч спрашивал себя, сумеет ли он выполнить советы члена ЦК. Он вспомнил лицо Балашова, крепкое рукопожатие Михеича и спокойно подумал: «С такими людьми все можно сделать...»

Трифону́ч проснулся, почувствовав, как кто-то слегка коснулся его плеча. Он вскочил и увидел Балашова, который тихо сказал:

— Полиция во дворе. Наверно, будет обыск. Хорошо, что Уткин заметил.

Сидя на кровати, Трифону́ч наблюдал за поведением Балашова. Его словно подменили. Исчезла спокойная, вразвалочку походка: он быстро и бесшумно поднялся на табуретку, зажег перед иконой лампадку, потом ловко вынул икону из киота, и Трифону́ч увидел в стене тайничок с книжками. Балашов вынул из кармана две небольшие брошюры и положил их в тайничок. Затем он вставил икону в киот, спрыгнул с табуретки и, повязав щеку платком, сел за стол, успев сказать Трифону́чу:

— Ложитесь...

В комнату вошли три жандарма. Балашов заметил, как мимо окна прошла жена торговца Котова. Он сразу понял, что жандармов привела она.

Невысокий унтер-офицер хриплым голосом скомандовал:

— Встать! Кто такие будете?

В этот момент Трифону́ч заметил на столе книгу, которую Балашов, по-видимому, не успел спрятать. Он подмигнул Балашову и перевел глаза на книгу. Но тот слегка усмехнулся и продолжал сидеть как ни в чем не бывало.

Унтер-офицер тоже обратил внимание на книгу и цепко схватил ее со стола:

— Книжечки почитываете! До рассвета...

Он полистал книгу и вслух прочитал:

— «Сочинения графа Салиаса. «Узорешительница». Роман». —

И уже более дружелюбно спросил: — Про чего это тут граф написал?

Балашов, поправляя платок, равнодушно ответил:

— Все больше про любовь.

— Интересноуешься?

— Зубы болят... Никак не усну.

Жандарм проверил паспорт. Паспорт Трифону́ча, выданный на имя мещанина уездного города Коврова Семена Антоновича Безрученкова, не вызвал у него никаких подозрений. Отдавая паспорт, он поинтересовался:

— Надолго прибыл?

Трифону́ч, пряча фальшивый паспорт в карман тужурки, коротко ответил:

— Если на работу наймусь, то поживу.

И совсем уж в благодушное настроение привела жандарма лампада:

— Что это у вас в будний день светится?

Балашов с усмешкой, которую заметил только Трифоныч, объяснил:

— Сегодня бабушке моей покойной памятный день. Три года, как престала перед господом...

Постучав по стенкам и заглянув под кровать, жандармы ушли. Как только захлопнулась за ними тяжелая калитка, Балашов снял платок и с облегчением вздохнул:

— Дешево отделались...

Он посмотрел на Трифоныча, и оба рассмеялись.

— А ловко вы! — сказал Трифоныч. — Талант! Ну прямо — талант!

Балашов, уже не улыбаясь, серьезно ответил:

— Ничего не поделаешь. Пока приходится брать только хитростью. Потерпим... Придет время, посчитаемся с ними и в открытом бою...

## ХОЗЯЕВА ГОРОДА

Высокие бездымные фабричные трубы упираются в майское небо. Тихо на пустынных улицах. Изредка торопливо пробежит прохожий, проскачет казак. Ветер кружит пыль на мостовых, да обрывки газет взлетают выше крыш.

С раннего утра все рабочие — старики и молодежь — за городом, на реке Талке.

В этот день утром Степан Рублев снова услышал о Ленине.

Степан знал, что Трифоныч должен был ночевать у шлихтовальщика Дроздова. Туда Степану и надо было принести письмо, за которым его посылали в Москву.

Чуть свет он уже был у Дроздова. В небольшой комнате, кроме хозяина и Трифоныча, были еще двое неизвестных Степану людей. Никто из присутствующих, по-видимому, не ложился спать. Это было видно по их посеревшим лицам.

Когда Рублев появился на пороге, все умолкли. Трифоныч улыбнулся, подошел к нему, крепко пожал руку и сказал:

— Подожди, Степа. Я скоро освобожусь... — Потом не своим, а каким-то чужим, холодным голосом произнес: — Продолжайте...

Один из неизвестных, высокий, полный человек, пискливо заговорил:

— Продолжать, собственно говоря, больше нечего. У вас своя точка зрения, а у нас своя. Очень прискорбно, что вы заведете честных пролетариев в непроходимую чащу, из которой им не выбраться...

Трифоныч спокойно ответил:

— Приходите со своей точкой зрения на Талку и выступите перед народом. Не вы первый пугаете нас тем, что рабочий класс, победив в вооруженном восстании, не сумеет управлять страной. Сумеет! Так сумеет, как никто раньше не умел.

Толстяк насмешливо спросил:

— Это вы сейчас выдумали?

Степан взглянул на Трифоныча и невольно шагнул к нему. Трудно, ох, как трудно было Трифонычу держаться спокойно! Но он сдержал себя и, не повышая голоса, сказал:

— Нет. Это выдуманно не мной. Гораздо раньше моего это сказал Ленин...

Ушли неизвестные люди, а вслед за ними и Дроздов. Только после этого Трифоныч взял у Степана письмо, прочитал и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся и начал расспрашивать Степана, как он доехал и какое впечатление произвела на него Москва. Потом Трифоныч сказал:

— А теперь — на Талку.

Степан был без кепки. Трифоныч, увидев его с непокрытой головой, вернулся в дом и вынес старую солдатскую фуражку:

— В такую жару нельзя без покрывки... Да и не так приметен будешь... Это я у старика Дроздова взял.

У калитки Степан спросил:

— Что это за гуси были?

Трифоныч улыбнулся и объяснил:

— Это господа меньшевики... Все пугают, что мы идем не той дорогой. А нам не страшно.

— Давеча, когда с ними спорил, ты Ленина упомянул. Помнишь, обещал о нем рассказать?

Трифоныч присел на завалинку:

— Сейчас у нас с тобой, Степа, времени очень мало, в обрез. Но самое главное я тебе все-таки скажу. Представь себе, что ты попал в темное, сырое подземелье и не знаешь, как из него на вольный свет выбраться. А вокруг ни одной живой души. И вот в эту самую минуту, когда ты уже решил, что тебе никогда больше не видеть ни голубого неба, ни родных, ни друзей, появился яркий луч и осветил твой путь. Вот такой луч — Ленин...

— А эти, что с тобой спорили, они не согласны с Лениным?

— Да, они считают, что рабочим нельзя братья за власть. Это дело, дескать, им не по плечу...

— А ты как думаешь?

— Я верю Ленину.

В первый день забастовки, в конце мая 1905 года, рабочие иваново-вознесенских фабрик собрались на главной площади перед городской управой. Огромная площадь не могла вместить несколько десятков тысяч, и люди заняли прилегающие улицы и переулки. На второй день собрание рабочих опять происходило на площади. Затем собрания, по предложению подпольного Иваново-Вознесенского комитета большевиков, были перенесены на Талку. Здесь ежедневно собиралось до сорока тысяч рабочих.

Река Талка была настолько мала и немногочисленна, что ее не заносили ни на одну географическую карту. Летом, в жаркое время, Талка почти совсем пересыхала, и в самом глубоком месте ее мог без всякого риска перейти даже ребенок.

Сейчас к берегам этой тихой, незаметной речки, почти ручья, было приковано внимание не только одних иваново-вознесенских жителей. За тем, что происходило здесь, пристально следили губернские власти, следили даже из самого Петербурга. О событиях на Талке ежедневно докладывали министру внутренних дел. Министр через день докладывал перепуганному Кровавому воскресенью царю.

Берега Талки были выбраны рабочими для собраний не случайно. В нескольких метрах от берега рос густой сосновый лес, в котором при необходимости легко можно было укрыться от полицейских и казачьих налетов. С левого, высокого берега отлично видны были город и дорога, по которой могли из города ехать стражники и казаки. Место было во всех отношениях удобное.

На Талке ежедневно к восьми часам утра собиралось полтора-два члена Совета и уполномоченных. Совет заседал на небольшой лужайке, около лесной сторожки. Заседания Совета тщательно охранялись от посторонних глаз надежной стражей, потому что на них обсуждались все вопросы, связанные с проведением забастовки.

А еще раньше, обычно накануне вечером, то в лесной сторожке, то где-нибудь на конспиративной квартире собирався подпольный комитет большевиков. На нем обычно присутствовали Федор Афанасьев, носивший партийное имя «Отец», Трифоныч, Евлампий Дунаев, Федор Самойлов — «Архипыч», Семен Балашов — «Странник» и другие.

Заседания комитета были короткими и деловыми. Именно на них и намечалась вся последующая работа Совета уполномоченных.

И в этот день, как всегда, члены Совета сидели на лужайке вкруг большой, высокой бочки. Вскоре в сопровождении трех пожилых рабочих пришел «Отец».

Настоящую фамилию «Отца» знали только самые близкие друзья. «Отцу» было за пятьдесят. Это был высокий, с окладистой, тронутой сединой бородой человек. Он появился в Иваново-Вознесенске прямо из сибирской ссылки. «Отец» был немногословен, совсем не походил на

заправского оратора, но когда он поднимался на бочку, на Талке становилось тихо.

Каждый старался не пропустить ни одного его слова.

Партийное имя «Отец» как нельзя лучше подходило к этому человеку — он действительно напоминал хорошего, мудрого главу большой семьи.

«Отец» уселся на пенек, достал из кармана очки в стальной оправе, аккуратно протер их большим синим платком и только после этого негромко сказал:

— Прошу товарищей депутатов простить за опоздание. Задержался у господина губернатора.

Степан был на заседании Совета впервые.

Он уехал в Москву вскоре после выборов депутатов. Кто первым заговорил о выборах — Степан не знал. Ему лишь пришлось быть на первом собрании, когда выбирали депутатов от Дербеневской фабрики. На высокой бочке стоял слесарь из механической мастерской Смышляков и громко спрашивал:

— Кто согласен, чтобы депутатом был Иван Горелов, прошу поднять руки.

Сотни рук одним движением взметнулись вверх. Смышляков довольным взглядом осмотрел толпу и четко произнес:

— Большинство!.. Быть тебе, Иван, депутатом, защитником наших интересов.

Потом Смышляков о чем-то посоветовался со стоявшими у бочки рабочими и снова спросил:

— Кто согласен, чтобы депутатом был Семен Жолудев?

Из толпы послышались крики:

— Это какой Жолудев? Подмастер или браковщик? Пусть покажется!

На бочку поднялся и встал рядом со Смышляковым небольшого роста человек с аккуратно подстриженной рыжеватой бородкой. Он поднял руку, видимо, желая что-то сказать. Но ему не дали произнести ни одного слова. Поднялся такой шум, что Степан с трудом различал отдельные выкрики:

— Куда его?

— Хозяйский угодник!

— Долой!

Жолудев быстро соскочил с бочки и затерялся в толпе. Смышляков поднял руку и спокойно сказал:

— Правильно. Таких депутатов нам не надо. Этот «депутат» — и нашим и вашим. А больше вашим. Вот тут настаивали, чтобы я его назвал, — ну, я и выполнил.

Когда выбирали депутатов, Степан предполагал, что «Отец», Трифонич и другие большевики придумали это для того, чтобы депутаты поддерживали порядок на фабриках и не давали воли «черной сотне». Здесь, на Талке, все оказалось по-иному. Совет решал большие и серьезные задачи.

«Отец» говорил не спеша, тщательно подбирая слова:

— Как вам известно, товарищи, господин губернатор постоянно живет в городе Владимире. Но, учитывая важность нашей забастовки, господин Леонтьев перебрался в Иваново-Вознесенск. Сейчас мы с ним, с вашего согласия, и беседовали.

Стало тихо-тихо. Слышно было, как поскрипывают, раскачиваясь, носы.

— Господин губернатор предложил нам прекратить забастовку и только после этого обещал свое содействие в переговорах с господами фабрикантами.

«Отец» сдвинул очки на лоб и обвел депутатов внимательным взглядом. Вскочил Дунаев и горячо заговорил:

— А мы от него другого ответа и не ждали!

«Отец» жестом остановил Дунаева:

— Не горячись, Евлампий. Ну как, товарищи? Я думаю, предложение губернатора обсуждать не стоит? Прошу поднять руки. Голосовали все. «Отец» так же медленно, подбирая слова, произнес:

— Вот и решили. Так и сообщим... Сходи, Дунаев, расскажи господину губернатору. Меньше только слов трать.

После того как Дунаев в сопровождении трех депутатов ушел к губернатору, Совет приступил к обсуждению очередных дел.

Первым получил слово красильщик с Дербневской фабрики Андрей Карпов. Он поднялся на бочку, улыбнулся и нараспев произнес:

— Помещение у нас очень большое, голос у меня не из могучих, а дело мое важное — прошу поближе.

Помолчав, пока члены Совета пересаживались, Карпов достал из фуражки листок бумаги и начал читать:

— «За вчерашний день в стачечный фонд поступило: из Москвы от рабочих Прохоровской мануфактуры 420 рублей, из Баку от рабочих фирмы Нобель — 317 рублей, от железнодорожников депо Бологое — 42 рубля 75 копеек, от беднейших крестьян Палехской волости, Шуйского уезда — 12 рублей 40 копеек».

Откуда-то из самых дальних рядов донеслось:

— Со всей матушки России! Не пропадем, стало быть!

Карпов долго читал свой список. Суммы, называемые им, становились все меньше и меньше. Никто его больше не перебивал.



И только в самом конце люди не выдержали и громко захлопали, когда Карпов все так же нараспев прочитал:

— «От рядовых 184-го стрелкового Варшавского полка 7 рублей 35 копеек».

Член Совета Осип Ванюков вскочил и возбужденно крикнул:

— Это надо понимать, товарищи! Я служил в солдатах. Знаю, что значит от солдатского гривенника копейки отрывать. Надо им, солдатам, письмо благодарственное послать.

Его предложение дружно поддержали все члены Совета.

Потом токарь с Куваевской фабрики Никодим Соловьев, член боевой дружины, стоявший сегодня в дозоре, привел в Совет конторщика с Грязновской фабрики — Матвея Сычева. «Отец» увидев Сычева, сказал Трифону:чу:

— Побеседуй ты с ним.

Трифонич попросил конторщика подойти поближе и деловито спросил:

— Зачем пожаловали?

— Гроза вчера была... Ливень.

— Знаем.

— Ну вот... Подвал у нас залило, с товаром. Гнить будет. А без вашего приказа никто работать не хочет. Вот мы к вам... с просьбой.

Трифонич обратился к депутатам:

— Ну как, товарищи, уважим просьбу?

Илья Зотин вдруг зло выкрикнул:

— А почему ты, Сычев, сюда пришел? А где хозяин? Почему сам не придет?

— Хозяин в Москве...

— А управляющий где?

Конторщик съежился, как от удара, и, птясь, отошел от бочки.

Трифонич поднял руку, и все стихло.

— Не стоит шуметь, товарищи... А вам, Сычев, совет: идите к управляющему и скажите — пусть придет сам.

Неожиданно в огромной толпе рабочих, спокойно сидевших на берегу реки, послышались шум, крики, веселый смех. Потом чья-то фигура легко взметнулась вверх, подкидываемая десятком рук.

Трифонич, поняв, в чем дело, пошел к толпе. Он не ошибся. Рабочие качали пришедшего на Талку красильщика с Гарелинской фабрики Романа Карташева, только что выпущенного из тюрьмы. Полиция арестовала Карташева, когда он один шел ночью к себе домой, в поселок Рылиху.

За Карташевым, молодым задорным парнем, не дававшим спуска хозяйским приказчикам, полиция гонялась давно, но не было прямого повода для его ареста. А взять его просто так, как она это делала раньше, полиция не решалась, зная, как уважают Карташева рабочие Гарелинской фабрики.

Наконец предлог был найден. Кто-то из шпииков донес, что Карташев, зайдя в лавку к купцу Куражову и увидев царский портрет, плюнул и сказал: «Не на месте висит. Надо бы по-настоящему повесить».

Карташев на допросе показал, что он действительно говорил такие слова, но они относились не к царскому портрету, а к свиной туше, висевшей у самого входа. Плюнул он потому, что уж очень скверный дух шел от туши. Царского портрета он вообще не заметил и не хочет даже плевать на царя.

Месяц назад не миновать бы Карташеву нескольких лет тюрьмы «за оскорбление особы его величества государя императора». Сейчас было иное время: на Талке заседал Совет рабочих депутатов, десятки тысяч рабочих в любую минуту были готовы выполнить любое приказание Совета. Да и сам Карташев был депутатом. Его избрали заочно, когда он сидел в тюрьме.

Вот и неслись поэтому сейчас над рекой приветственные возгласы:

— Наша взяла, Карташев!

Карташев, увидев Трифоныча, подбежал к нему, крепко обнял и сказал:

— Обратиться мне к народу хочется!

— Говори.

Карташев поднялся на бочку, снял с головы кепку:

— Товарищи! Вот я с вами опять. Понимаете, что происходит? Они нас боятся, потому что вместе — мы грозная сила. — Он хотел, видимо, говорить много, но вдруг засмеялся и выкрикнул: — Одним словом, на свободе! Живем, братцы!

Он легко спрыгнул с бочки, его окружили гарелинцы и повели к берегу.

После того, как улегся шум, вызванный появлением Карташева, «Отец» сказал:

— Надо нам одно письмо утвердить — на имя господина губернатора. Давай, Трифоныч.

Трифоныч поднялся на бочку и начал читать:

— «Мы, рабочие и мастеровые города Иваново-Вознесенска, единогласно постановили: для поддержания порядка на улицах города во время стачки, который может нарушиться черной сотней и хулиганами, ничего общего с нами, рабочими, не имеющими; для того, чтобы по нашему уговору действовать согласо и встать на работу не раньше, чем на это согласятся все рабочие Иваново-Вознесенска, а также во избежание столкновений между работающими и бастующими товарищами, — постановили устроить милицию из среды себя, т. е. стражу из рабочих, которая должна следить за порядком в городе и не допускать отдельные фабрики с мастерскими и заводы работать прежде, чем мы не решим стать всем на работу.

Действиями этой милиции руководят депутаты, избранные нами для переговоров с администрацией и фабрикантами.

При этом считаем нужным напомнить, что в случае, если членам нашей милиции помешают исполнять данные ей поручения, то мы при всем желании сохранить порядок — не можем ручаться за его сохранение».

Кончив читать письмо, Трифоныч спросил:

— Как, товарищи, все правильно? Дополнений никаких не надо?

— Все верно. Хорошо бы это письмо на заборах расклеить, чтобы все знали, в чем дело! — раздался чей-то голос.

Трифоныч аккуратно сложил письмо, положил в карман и произнес:

— Тоже правильно! Сделаем.

В это время один из дозорных привел шестерых крестьян. Все они были с котомками за плечами, на ногах у всех были лапти, и только один был обут в стоптанные солдатские сапоги. Крестьяне подошли ближе, разом поклонились. Тот, который был в сапогах, густым басом сказал:

— Коли помешали — простите, мы подождем.

Трифоныч и «Отец» подошли к ним, поздоровались. «Отец» ласково пригласил крестьян подойти ближе:

— Проходите, пожалуйте, проходите. Рассказывайте, откуда вы, зачем к нам пожаловали.

— Мы недалеко от вас... из села Майдакова. Мир послал нас. Дело у нас очень важное. Земли на душу столько, что и куренка некуда выпустить. А вокруг земля скуплена фабрикантом вашим. Услышали мы, что вы у него фабрику отнимать хотите, ну вот и решили посоветоваться с вами: не пора ли и нам землей распорядиться?

Кто-то из членов Совета шутливо сказал:

— А вы подождите, мужики. Наш хозяин добрый — он вам землю сам отдаст.

Обладатель баса громыхнул во всю свою мощь:

— Дождешься от него, как от березы яблок!..

«Отец», внимательно слушавший крестьян, перекинулся несколькими словами с Трифонычем и обратился к крестьянам:

— На ваш вопрос, товарищи, ответить не так-то просто. Сразу, пожалуй, и не ответишь. Если не торопитесь, побудьте у нас, а вечером мы с вами подробно побеседуем. Скорее всего, пошлем мы к вам в село опытного человека. Он вам все разъяснит.

Крестьяне поблагодарили «Отца» и присели в сторонке, около кустиков. К ним тотчас же присоединились посланные Трифонычем три члена Совета.

Вскоре члены Совета увидели, как неподалеку остановилась пролетка. Из нее вылез управляющий Грязновской фабрикой Смолин,

держа в одной руке соломенную шляпу. Другой рукой он то расстегивал, то застегивал пуговицы на чесучовом пиджаке. Подойдя ближе, он вежливо поздоровался:

— Здравствуйте, господа-товарищи!

Трифоныч так же вежливо ответил:

— Здравствуйте, господин Смолин. Зачем пожаловали?

— Конторщик мой сейчас был у вас. Кто у вас тут за главного?

— Все главные.

— С кем все-таки переговоры вести?

— С нами.

— Понятно... Я насчет товара. Гниет. А охрана ваша никого на фабрику не пропускает.

Смолин подробно рассказал про ливень, про залитую котельную и заискивающе попросил:

— Уважьте просьбу!.. За ценой не постоим. Вы же ткали! Такое добро пропадает...

Смолина слушали молча, не перебивали. Когда он закончил свою путаную речь, Трифоныч, не глядя на него, спросил:

— Как, товарищи? Разрешим?

Кто-то громко сказал:

— Не к чему! Проучить надо как следует!

Трифоныч поставил заявление Смолина на голосование. За удовлетворение просьбы проголосовал только один человек, все остальные единодушно проголосовали против. Трифоныч с подчеркнутой вежливостью обратился к управляющему:

— Видите, господин Смолин, решили не в вашу пользу. Ничего не поделаешь, придется вам отказать.

Управляющий покраснел, как рак, постоял с минуту, нервно подергивая пуговицы на пиджаке, потом сорвался с места и, не оглядываясь, побежал к своей пролетке.

Затем приходили в Совет все новые и новые просители.

Пришел продавец из винной лавки с Ильинской улицы и рассказал, что у лавки с утра стоят несколько приказчиков купца Чернова и требуют продать вина.

— Я им сто раз объяснил, что лавку закрыл Совет и что никакой продажи быть не может, а они требуют.

Трифоныч послал с продавцом Никодима Соловьева. Никодим взял железную трость и озорно крикнул:

— Пошли! Поднесешь козуску.

Продавец начал торопливо благодарить, приговаривая:

— Ловко у вас тут! Почистице, чем в управе!

Пришли железнодорожники. Один из них, знакомый Степана, машинист Ветров, подал Трифонычу перевязанную бечевкой пачку

кредиток. Трифоньч тотчас же передал их Карпову. Карпов начал считать трешницы и рубли. Пересчитав деньги, он вынул из фуражки листок и, записывая, сказал Ветрову:

— Семьдесят девять целковых. Правильно будет?

— Это только от деповских,— ответил Ветров.

— И на этом спасибо, очень даже хорошо!

В полдень задымили костры, откуда-то появились жестяные чайники, на траву было выложено все, что положили дома в карманы,— хлеб, крутые яйца, вобла.

— Вот оно, приволье-то! — восхищенно сказал Карпов.— Умирать не надо!

Слушая все, что говорилось и делалось на Талке, пытливо разглядывая знакомых людей, Степан не узнавал их. Особенно поразил его Афанасий Тощев. Тощев любил выпить. Каждую получку он со своим другом и соседом по квартире Андреем Хрустальевым выходил на лужайку перед домом и, выпив, запевал одну и ту же песню:

На Муромской дороге  
Стояли три сосны...

А сейчас Тощев сидел трезвый, в чистой синей с белыми полосками сатиновой рубашке. Очищая воблу, он тихо говорил Хрустальеву:

— Ничего, брат, не поделаешь: зарок дал... Депутат.

Но больше всех Степан любовался Трифоньчем. Переходя от одной группы людей к другой, Трифоньч едва успевал отвечать на вопросы.

Степан увидел, как Трифоньч подошел к подмастерью с Маракушевской фабрики Никите Петровичу Зеленову и сел с ним рядом. Никите Петровичу было больше сорока лет. У него была своя большая семья, да недавно еще он взял к себе на воспитание троих детей брата, убитого в далеком Порт-Артуре.

Рабочие не только Маракушевской фабрики, но и других уважали беспартийного Зеленова за его рассудительность, мужественное спокойствие и смелость в разговорах с хозяйскими приказчиками. Но была у Никиты Петровича, как он сам говорил, одна беда: он был малограмотен и почти совсем не умел говорить перед народом. Поднявшись на бочку, он начинал от смущения заикаться и запинаться на каждом слове.

Степан вспомнил, как Зеленов недавно выступал во дворе фабрики, и очень удивился: Никита Петрович говорил хоть и недолго, но зато ясно и убедительно. После собрания Степан спросил его об этой перемене. Никита Петрович засмеялся и открыл секрет своего перерождения:

— Со мной теперь Трифоньч занимается. Он мне все объяснил: как надо сначала речь обдумать, как ее запоминать. А какие он мне книжки читать дает!..

Размышляя о Зеленове, Степан наблюдал за Трифонычем. А тот шел уже мимо него с токарем Андреем Тихомировым и на ходу подбадривал:

— Смелее, Андрюша! Смелее! Справишься.

Увидев Степана, Трифоныч подсел к нему и тихо спросил:

— Хорошо, Степа?

Степан молча кивнул головой.

— Расчудесно! — довольный, промолвил Трифоныч. — Замечательно!.. А к тебе у меня еще дельце есть, хитрое..

Что еще хотел сказать Трифоныч, Степан так и не услышал, потому что в эту минуту на Талку прибыл полицмейстер Кожеловский. Полицейстер под охраной спешившихся казаков перешел по узенькому мостику через Талку и поднялся в гору, к Совету. Он снял фуражку, вытер платком пот на лбу и заговорил, смотря прямо на Трифоныча:

— Господа уполномоченные! Их сиятельству господину губернатору стало известно, что сегодня на вашем собрании опять предполагаются политические речи. Кроме этого, намечена манифестация в город. Их сиятельство просили передать вам, что на всякое шествие по городу нужно его разрешение..

Трифоныч жестом остановил полицмейстера и спокойно, очень вежливо произнес:

— Передайте господину губернатору, что его разрешения нам не требуется. Хозяева в городе — мы!

## ОН ТЕПЕРЬ ЖИВЕТ В КАЗАНИ

Григория Прошина арестовали в конце мая, в июле судили, в августе отправили в Сибирь, а в октябре он уже был на свободе.

Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Жесточайшее двустороннее воспаление легких свалило Григория с ног в арестантском вагоне. На станции Данилово начальник конвоя, не желавший возиться с безнадежно больным, договорился с местным начальством, и Григория поместили в тюремную больницу.

Другой кто-нибудь, послабее, легко бы распростился с жизнью, попав в руки к тюремному врачу Лопатникову. От всех болезней было у него только два средства: трубка да градусник. Послушает и в зависимости от температуры даст то или иное указание. Если термометр показывал больше тридцати семи градусов, тогда врач приказывал больному лежать; а если меньше — немедленно прогонял в общий корпус тюрьмы.

На всякие замечания по поводу его способа лечения Лопатников спокойно отвечал:

— Медицина — дело сложное. Кому положено выздороветь, тот и без меня это сделает; а кто умирать собрался — стало быть, так тому и быть.

Взглянув на Григория Прошина, Лопатников не стал его даже слушать и велел оставить в покое:

— К ночи преставится...

Но ни к ночи, ни на следующий день Григорий «преставляться» не захотел, чем несказанно удивил врача.

На пятые сутки Лопатников, прослушав Григория, укоризненно сказал:

— Экий ты, братец, живучий...

Больше он к Григорию не подходил. А для Григория это было хорошо. Могучий организм взял свое. Через две недели он чувствовал себя способным идти пешком хоть сто верст, но вел себя, как тяжело больной. Когда к нему приближался Лопатников, он прерывисто дышал, усиленно кашлял, просил пить.

Лежа на жесткой койке, Григорий вспоминал свои беседы с Трифонычем. Вспомнил он и о том, как Трифоныч советовал вести себя в тюрьме:

«О тюрьме, Гриша, как и о смерти, надо меньше думать. Есть такая пословица: «Кто много думает о смерти, тот жить не успевает». Так и о тюрьме — меньше думай, а если попал в нее — дерись! Дерись и старайся всеми способами вырваться на свободу».

У Григория созрел дерзкий план побега. Ночью в лазарете дежурила старая монашка. Она, как правило, беспробудно спала в дежурке. Около двенадцати часов ночи, строго выполняя инструкцию, в палату заходил фельдшер Коськин. Вел он себя во время ночных визитов всегда одинаково. Сначала молча стоял на пороге, осматривая всю палату. Потом так же молча обходил больных и напоследок обеими руками брался за решетку на окне, пробуя ее прочность.

Григорий все обдумал и только ждал своего часа. К концу третьей недели он остался в палате один. Двух уголовников, у которых оказалась нормальная температура, врач собственноручно выгнал в тюремный корпус. К Григорию он не подошел.

Ночью, когда фельдшер ухватился за решетку, Григорий ладонью зажал ему рот, а другой рукой вынул из кобуры пистолет. Дальше все произошло, как было задумано. Перепуганный Коськин, цепenea от страха под наведенным на него пистолетом, молча снял с себя всю одежду и сапоги. Григорий воткнул ему в рот кляп из наволочки. Затем он разорвал простыню, сделал жгут и, связав Коськину руки и ноги, привязал его к кровати.

Григорий запер дверь палаты, спокойно прошел мимо дремавшей монашки и неторопливым шагом вышел во двор. По рассказам арестантов он знал, что из небольшого двора при лазарете на улицу

можно попасть или через высокую стену, или через проходную, где днем и ночью находятся дежурный надзиратель и часовой.

Григорий, держа руку с пистолетом в кармане брюк, пошел к проходной. Открыв низенькую дверь, он увидел, что противоположная дверь на улицу была открыта. Надзиратель — видно, от скуки — обметал метлой приступки крыльца. Часовой, невысокого роста молодой солдат конвойной команды, стоял, прислонившись спиной к косяку.

Григорий сгорбился, как фельдшер, и прошел мимо часового на улицу. Надзиратель окликнул его:

— Домой, Алексеевич?

Григорий закашлялся, как кашлял всегда фельдшер, и хрипло сказал:

— Пора... Не ночевать же тут...

И только дойдя до угла улицы и увидев огни станции, Григорий почувствовал, что у него вся спина мокрая от волнения.

Но раздумывать было некогда. Надо было торопиться поскорее исчезнуть из Данилова. Бежать было нельзя. Каждый случайный городской мог обратить внимание, что это за человек в мундире тюремного ведомства ночью бежит по улице.

Еле сдерживая себя, он зашагал на станцию. На его счастье, через двадцать минут из Данилова в Ярославль уходил товарный поезд. Григорий на ходу уцепился за скобку и легко подтянулся на тормозную площадку.

Утром он был на станции Всполье, а через день к вечеру все тем же способом, на тормозных площадках, усталый и голодный добрался до Иваново-Вознесенска.

И здесь ему еще раз повезло. На квартире большевика Осипа Костылева он встретил Трифоныча, который в последнее время больше находился в городе Шуче, но как раз в этот день был в Иваново-Вознесенске в связи со страшным событием — убийством «Отца» казаками и черносотенцами.

В это время, к концу октября 1905 года, рабочие Иваново-Вознесенска и окружающих городов и поселков были уже не такими, как весной. Два с половиной месяца стачки, собрания на Талке, пропагандистская работа большевиков сделали свое дело. Стачка закалила рабочих, сплотила в дружный, организованный коллектив.

Иваново-Вознесенск жил так же, как жила в то время вся Россия, на огромной территории которой, начиная с Кровавого воскресенья 9 января, непрерывно возникали стачки, забастовки, крестьянские волнения, бунты. Вся страна готовилась к решающей схватке с царским правительством.



В Иваново-Вознесенске действовала подпольная типография большевиков, снабжавшая листовками весь текстильный край. Аккуратно получались из Женевы номера «Пролетария». По совету Владимира Ильича Ленина статьи и заметки из «Пролетария» перепечатывались в листовках. Из них рабочие узнавали правду обо всем, что происходило в России: о грандиозной стачке бакинских рабочих; о восстании на «Потемкине», о забастовках в Петербурге, Москве и других городах.

На всех фабриках и заводах существовали партийные большевистские ячейки, действовали кружки. Выросла и хорошо вооружилась боевая дружина. Тайно от полиции во многих мастерских изготовлялись бомбы.

Царский манифест 17 октября с обещанием «незыблемых основ гражданской свободы» в Иваново-Вознесенске, как и во многих других городах России, сопровождался черносотенными погромами, зверскими расправами с революционерами и рабочими.

В один из таких погромов, через пять дней после опубликования манифеста, на берегу Талки, неподалеку от того места, где летом заседал Совет, и был убит «Отец».

Трифоныч и Костылев ночью должны были идти на конспиративное собрание, назначенное в лесу, за Витовским бором. Григорий, несмотря на усталость и пережитые волнения, попросился с ними. Он долго уговаривал Трифоныча:

— Не могу я больше бездействовать! Я же в тюрьме отдохнул...

И Трифоныч уступил его настойчивой просьбе.

Они шли по окраинным улицам. Трифоныч тихо рассказывал Григорию, как погиб «Отец»:

— Это, Гриша, страшное, коварное преступление! К сожалению, нас было на Талке немного, а черносотенцев собралось туда больше сотни. За ними ехали казаки. Представь себе: мы на одном берегу, а они — на другом. Несмотря на то, что их было в пять раз больше, они не рискнули гнаться за нами. Вдруг «Отец», ничего не сказав нам, пошел к ним через мостик. Мы его окликнули. Он махнул нам рукой и крикнул: «Сейчас я с ними поговорю!» Потом он крикнул: «Казаки! Не стреляйте! Я хочу поговорить с вами!» Они ему тоже крикнули: «Иди!» Он пошел. Но разве есть у этих бандитов совесть и честь! Как только «Отец» оказался на берегу, черносотенцы сбили его с ног... Все это случилось в одну минуту. Мы даже не успели мостик перебежать. А когда мы добежали до «Отца», он уже не дышал...

Трифоныч не кончил своего рассказа. Из Витовского бора наперерез им внезапно выехали шесть казаков. Это были, судя по их желтым лампасам и погонам, так называемые «астраханцы», отличавшиеся особой жестокостью.

Бородатый вахмистр крикнул:

— Стоять смирно! Кто такие?

Осип Костылев шепнул Трифону:чу:

— Ты молчи. Я поговорю. На рожон лезть нельзя. Их шестеро, и все на конях. Сомнут.

Велух он сказал:

— Плотники, ваше благородие. Ходили к витовскому приказчику о работе договариваться. Срубы будем ставить.

Вахмистр недоверчиво произнес:

— Плотники? А где же ваши топоры?

— Мы же только договариваться ходили...

Вахмистр зло скомандовал: «Обыскать!»

Трое спешившихся казаков начали обыск. Маузер, найденный у Трифону:чу, привел вахмистра в неопишемую ярость. Он соскочил с коня, подошел к Трифону:чу и взмахнул плетью. Но опустить плеть казаку уже не пришлось. Трифону:ч быстро схватил его одной рукой за локоть, а другой нанес такой сокрушительный удар в подбородок, что казак как подкошенный грохнулся на землю.

Но что могли сделать три безоружных человека с шестью вооруженными до зубов казаками! И все же неравная схватка кончилась не скоро.

...Вахмистр стер с лица кровь, в последний раз ударил ногой лежащего без сознания на дороге Костылева и, погрозив Трифону:чу плеткой, сказал:

— Плотники, говорите! Срубы ставите... Ну, я покажу вам, какие вы мастеровые!.. Краснопеев! Этого, на дороге, я на твое попечение оставляю. Подними его и доставь... Воронов! Ты с Вязчиковым бери подмастерья. А с главным плотником я сам займусь.

Вахмистр накинул Трифону:чу на шею ременную петлю, вскочил на коня и сразу, с места погнал его рысью. Трифону:ч, ухватившись руками за петлю, чтобы она не давила ему шею, побежал за лошадьёу. Вровень с ним, подгоняя его, ехали два молодых казака. Трифону:ч бежал, ничего не видя перед собой. Он только слышал тяжелое дыхание лошадей да их топот по плотной, укатанной дороге.

Трифону:ч потерял счет времени. Ему казалось, что он бежит не меньше часа. Прежде чем доставить своего пленника в полицейское управление, вахмистр решил «покружить» его по Витовскому бору.

Трифону:ч задыхался. Измученное сердце рывками билось в груди и готово было вот-вот остановиться.

Вахмистр, увидев впереди огни поселка, остановил коня и насмешливо крикнул Трифону:чу:

— Передохни, плотничек! Ну, как прогулочка? Нравится?

Трифону:ч посмотрел на своего мучителя и прерывающимся голосом ответил:

— Подожди, подлец, за все заплатишь!

Вахмистр снова натянул аркан и стегнул коня плетью:

— Ты еще не сыт! Разговариваешь...

Не вмещайся молодой казак, худо бы пришлось Трифону. Казак сная фуражку и, вытирая со лба пот, сказал:

— Вы, Гордей Максимович, напрасно в бесчувствие приходите. Так вы его, свободное дело, до смерти замучить можете. А он у них, по моему, из главных. За него, может, награду дадут. Давайте его ко мне. Я его вперед себя посажу. Так мы его сподручнее доставим...

Вахмистр указал плеткой Трифону на низенький решетчатый заборчик:

— Становись... А ты, Петро, подводи коня.

Трифон с трудом поднялся на заборчик. Но вахмистр, видно, снова передумал и решил поиздеваться над измученной жертвой до конца. Он дико гикнул, и лошади понеслись. Трифон зацепился ногой за решетку забора и не сумел вовремя соскочить на землю. В ноге что-то хрустнуло. Нестерпимая боль пронзила Трифона, и он упал, потеряв сознание.

Но и окровавленного, почти бездыханного, казаки еще долго волочили его по булыжной мостовой.

«Протокол. Город Иваново-Вознесенск.

Я, отдельного корпуса жандармов ротмистр...»

У стены, метрах в двух от скрипучего канцелярского стола, на табуретках молча сидели Трифон, Осип Костылев и Григорий Прошин. Ротмистр писал привычно быстро, слегка оттопырив нижнюю губу:

«...все вышепоименованные от дачи каких-либо показаний категорически отказались».

Григория Прошина вызвали на допрос еще раз, ночью. Ротмистр встретил его, стоя у стола, и, прежде чем начать допрос, долго молча смотрел на него испытующим взглядом. Григорий пододвинул ногой табурет, сел и, усмехаясь, сказал:

— Смутить взглядом хотите, ваше благородие? Ничего не выйдет. Давайте попросту — отправьте меня в камеру. Я ведь вам все равно ничего не скажу.

Ротмистр сел, перелистал желтую папку с крупной черной надписью «Дело» и в тон Григорию ответил:

— Давайте попросту, господин Прошин. Как видите, ваша настоящая фамилия мне известна. Известно мне, кто вы такой и как вам удалось бежать из Данилова. Ну вот... А теперь давайте говорить по существу. За вами десять лет каторжных работ плюс побег, плюс нападение на должностное лицо. В итоге, я полагаю, вам причтутся два столба с перекладной.— Ротмистр говорил так, как будто речь шла о небольшой прогулке в лес.— Да-с! Виселица! Я полагаю, меньше вам не дадут. А у вас семья. Молодая женушка... Мальчик...

Григорий вопросительно посмотрел на жандарма.

— Совершенно верно. Очаровательный мальчик. Сегодня их, по моему приказанию, доставили от вашей матушки сюда. Если пожелаете, могу доставить удовольствие — устрой свидание... Но прежде вы скажете, давно ли знакомы с молодым человеком, с которым вас задержали. Кто он? Где живет? Чем занимается? А потом вы нам расписочку, а мы вам скидочку предоставим.

— Большую? — спросил Григорий.

— Не пожалеете... солидную... Ваш знакомый — студент?

— Так точно, студент. Пишите. Все расскажу.

Ротмистр слегка оттопырил нижнюю губу. Перо торопливо забегало по бумаге. Григорий диктовал медленно, тщательно подбирая слова:

— Студент. Фамилия Правдин, родом из села Неелово, Княжеского уезда, Романовской губернии.

— Какой губернии?

— Романовской.

— Вы ошибаетесь... Такой губернии нет.

— Есть! И не только губернии — вся Россия пока Романовская. Но только пока, ваше благородие! Я не ошибся. Это вы ошиблись. Обрадовались! Думали, на труса напали! — Григорий встал во весь свой огромный рост. Рубашка на нем была порвана. Сквозь прорехи виднелись могучие мускулы. — Хотели рабочего человека смертью запугать! Виселицей! В предатели определяете! Дураки! Все равно повесите, так на вот, получи напоследок!..

Вбежал конвой. Но было уже поздно. Григорий легко, словно тоненькую дощечку, поднял стол и обрушил его на ротмистра. Все, что было на столе: бумаги, массивная чернильница, лампа с зеленым абажуром, — грохнулось на пол. И сразу стало темно, только слышались визг ротмистра и возгласы Григория:

— Получай, серая морда!

Ничего не добились жандармы и от Осипа Костылева. Так и пришлось им «за недостаточностью улик» прекратить следствие о Трифоныче и Костылеве. Ничего не зная о них, даже не представляя, кто попал к ним, охранники выслали Трифоныча в административном порядке под надзор полиции в Казань, а Костылева в Кострому.

До Казани Трифоныча сопровождали два жандармских унтер-офицера — Игнат Суконкин и Федор Холодов. Несмотря на напутственную речь начальника охранного отделения, предупредившего о необходимости строго следить за арестованным, оба унтера были довольны поездкой. По их расчетам, меньше чем за неделю они управятся не могли. Шутка сказать — отдохнуть целую неделю от бесконечных ночных облав, обысков, вечной угрозы не вернуться

домой! А тут, подумаешь, труд — вдвоем довести до Казани и сдать под расписку одного человека! А обратный путь — порожняком. Это же сплошное удовольствие!

Только этим и мог объяснить Трифоныч необычное для жандармских унтеров деликатное обращение. Они всю дорогу называли его на «вы», именовали «господином студентом» и на остановках охотно приносили по очереди кипяток. Но все же ночью, при пересадке на станции Новки, Игнат Суконкин для верности стянул Трифонычу руки узеньким ремешком, а в Коврове, желая, видимо, загладить вину, усердно потчевал чайной колбасой. Трифоныч безглаголиво отказался от угощения и до самой Казани не проронил ни слова.

В Казань приехали ранним ноябрьским утром. Зима еще не вступила полностью в свои права. Было непонятно: дождь ли идет или падает мокрый снег. Перейдя вокзальную площадь, повернули направо и, поднявшись в горку, долго шли по прямой и длинной Вознесенской улице, в конце которой виднелась колоннада университета.

Трифоныч вспомнил, как в начале января этого года он в Петербурге, на квартире писателя Анненского, встретился с Максимом Горьким. Небольшой зал был битком набит молодежью. Десятки восторженных глаз смотрели на автора «Песни о Буревестнике» и «На дне». Горький стоял около небольшого круглого столика и говорил: «Хорошо у нас на Волге, в Нижнем, в Казани».

Не думал тогда Трифоныч, что придется ему побывать в Казани, да еще с такими провожатыми. Он шел посередине дороги. По бокам, стуча тяжелыми сапогами по булыжной мостовой, шагали жандармы. Трифоныч с любопытством осматривал незнакомый город.

Так вот какая она, Казань!

Казанское полицейское управление по странной иронии судьбы находилось по соседству с университетом.

В одном доме учились и работали многие великие русские люди, а в другом — читали лишь одни инструкции о борьбе со всем передовым и писали только протоколы и постановления об арестах и обысках.

Трифоныч и его невольные спутники долго сидели в темном узеньком коридорчике.

От жандармов нестерпимо пахло мокрым шинельным сукном, водкой и махоркой. Игнат Суконкин вслух мечтал:

— Сейчас сдадим господина студента, освободимся — и в трактир.

Менее разговорчивый Федор Холодов коротко спросил:

— Когда обратно?

— А что нам торопиться! Поедем вечерним поездом.

Ровно в десять пришел начальник арестантского стола. Он хозийски осмотрел Трифоныча, проверил его приметы и, расписываясь, сказал унтерам:

— Все. Можете идти.

Суконкин взял расписку, бережно спрятал ее во внутренний карман мундира и, козырнув начальнику, обратился к Трифону:чу:

— Счастливо оставаться, господин студент!

До появления начальника полицейского управления Трифону:чу поместили в крохотную комнату с узеньким решетчатым окном и заперли дверь.

Начальник казанского полицейского управления был, как и все начальники полицейских управлений, верным слугой царя и врагом революционеров. Однако к своему новому подопечному он отнесся гораздо мягче, чем относился к другим.

Начальник был очень зол на своих коллег из соседних городов, которые посылали и посылали под его надзор все новых и новых беспокойных людей. Он с удовольствием посадил бы Трифону:чу в тюрьму, это было бы гораздо спокойнее: в тюрьме не очень-то займешься агитацией, но новенького посадить в тюрьму не было формальных оснований. Значит, меньше будет хлопот, если он убежит, и инструкция не будет нарушена. Он приказал привести к нему Трифону:чу и сердито сказал:

— Определяйтесь на жительство! Находите себе комнату или угол — как хотите. И чтобы у меня — ни-ни! Чтоб я о вас ничего худого не слышал. И на отметку являйтесь аккуратно, один раз в три дня. Идите!

Не в меру выпивший и все же не насытившийся унтер Суконкин сходил с поезда на каждой станции, где был буфет. Не отказал он себе в этом удовольствии и в Шуе, тем более что на станции служил жандармом его брат. Вернувшись в вагон, Суконкин начал уверять Федора Холодова в том, что сейчас видел «господина студента». Холодов сначала не поверил пьяному бормотанию. Потом он спохватился и помчался к выходу. Но мимо вагона уже бежали домишки шуйского рабочего Заречья.

Игнат Суконкин не ошибся: Трифону:чу вернулся в Шую с этим же поездом.

К большой его радости, на конспиративной квартире у Личаевых он встретил Григория Прошина. Одна рука у Григория висела на перевязи.

— Что с тобой, Гриша?

— Так, пустяки...

Павел Гусев, улыбаясь, сказал:

— Ему все пустяки! Выскочил на полном ходу из поезда...

Григорий рассказал все, как было:

— Набил я этому противному ротмистру морду как следует. Конечно, теперь сам понимаю — не надо было этого делать. Но не стерпел я, когда он начал мне всякие гнусности предлагать. Скрутили меня — и в одиночку. А потом на вокзал — и во Владимир. Ну, думаю, пропал! За все не помилуют — повесят. Но они меня, к счастью, не заковали. А когда меня в вагон вводили, я заметил, что дверная ручка провертывается — не запирается. В Шую мы приехали ночью. Я попросил конвойных свести меня в уборную. Повел меня солдатик — молоденький и, видно, еще глупенький. Постоял я в уборной немного, меньше минуты, потом дверь открыл — и кулачищем солдату прямо между глаз! Выходная дверь на самом деле не заперлась — я с поезда кубарем... Только вот руку повредил... Ну, а ты как?

Трифоныч махнул рукой:

— Скучно рассказывать. Как-нибудь после... Сейчас надо о другом поговорить. Как с типографией, Павлуша? Все в порядке?

Павел Гусев вынул из кармана листовку:

— Все в порядке. Посмотри — первый экземпляр... Но прежде чем говорить о типографии, надо поговорить о тебе. Здесь прошел слух, что Трифоныча арестовали и выслали в Казань. Очень хорошо! Не будем опровергать этот слух. Нам это на руку. А ты придумай себе другую кличку.

— Ну что ж! Пожалуй, ты прав. Называй меня Арсением.

— Арсением? Неплохо. Ну так вот, слушай товарищ Арсений...

Через неделю на собрании рабочих завода Толчевского выступал новый агитатор — «Арсений». Старый литейщик Илья Горшков, внимательно слушавший оратора, шепнул своему соседу Кузьме Говорову:

— Уж очень Арсений на Трифоныча похож. Братья они, что ли?

— Должно быть, братья.

— А где же Трифоныч? — все так же шепотом спросил Илья.

— Он теперь живет в Казани, — тихо ответил Говоров.

## В ТИПОГРАФИИ ЛИМОНОВА

Большие круглые стенные часы пробили шесть. Владелец типографии Лимонов оторвался от толстой конторской книги и подошел к окну. За окном лениво падал большими хлопьями снег.

Лимонов вспомнил: сегодня он приглашен играть в карты к казначею. Надо будет зайти за соборным дьяконом. Он хоть и не картежник, но посидеть с ним занятно. После второй рюмки дьякон начинал рассказывать такие анекдоты, что все диву давались...

В дверь кабинета тихо постучали.

— Ну, кто там? Входите.

Вошли двое. Один, постарше, встал около двери, рядом с которой висел телефон. Второй, помоложе, снял белую заячью шапку и вежливо приветствовал хозяина:

— Добрый вечер!

Лимонов принял деловой вид и любезно ответил:

— Прошу... Чем могу быть полезным?

Молодой посетитель расстегнул тужурку и достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги:

— Извините за беспокойство, но нам надо срочно отпечатать.

— Что прикажете понимать под вашим «срочно»?

— Сегодня. Сейчас же.

— Не могу. Впрочем, покажите, что за работа.

В серых глазах посетителя засверкали озорные искорки. Пряча улыбку, он произнес:

— Пожалуйста. Текста немного, а о тираже мы, надеюсь, договоримся.

Хозяин взял текст и, прочитав его, вскочил с кресла:

— Позвольте... Я что-то ничего не понимаю... Что это такое? Да как вы смели?

Но Лимонову оставалось только возмущаться. Один посетитель стоял у телефона, в его правой руке поблескивал никелированный револьвер. Другой подошел к окну и задернул шторы. Потом он вышел в коридор и спросил:

— Все на месте?

Чей-то голос густым басом ответил:

— Все в порядке!

Лимонов опустил в кресло. Вот тебе и вечеринка! Вот это анекдот! Такого не выдумает и дьякон.

А молодой посетитель спокойно, как будто он у себя дома, говорит:

— Успокойтесь! Ничего худого с вами не случится. Распорядитесь, чтобы начали набор.

Лимонов вскочил с кресла:

— Ну что ж, пожалуйста! Только прошу вас учесть: я уступаю силе... Позовите сюда кого-нибудь из рабочих. Я должен иметь свидетелей.

В кабинет вошел наборщик Орешкин. Хозяин, недолюбливавший независимо державшегося рабочего, встретил его, как родного:

— Дорогой! Видишь... Заставляют. Силой оружия.

Орешкин усмехнулся и сказал:

— Не беспокойтесь, господин Лимонов. Когда полиция за вас возьмется, мы подтвердим, что вы действовали не по своей охоте... Давайте листовочку. Мы ее быстренько наберем...

И работа закипела.



Соборный дьякон, не дождавшись Лимонова, решил сам зайти за ним и затащить его к казначею. Войдя в типографию, дьякон стряхнул с енотовой шубы снег, кашлянул для очистки голоса и, увидев около кабинета хозяина рабочего, рывкнул на всю типографию:

— Хозяин у себя?

— У себя, отец дьякон... Проходите.

Дьякон открыл дверь кабинета и замер на пороге. Около телефона стоял человек с пистолетом в руках. Дьякон хлопнул дверью и понесся по коридору к выходу, заревев во всю мощь своей глотки:

— Караул! Грабят!

Через минуту укрощенный дьякон сидел в кабинете без шубы, в одном подряснике. Возле него стоял Павел Гусев и внушительно уговаривал:

— Напрасно, отец дьякон, волнуетесь. Кричать не надо. Никто грабить вас не собирается. А на улицу мы вас, извините, пока не выпустим. Придется несколько подождать. Как только работу кончим, тогда пожалуйста...

А в это время в коридоре типографии «обрабатывали» городского Шишкова.

Весь вечер прошел тихо и незаметно, и Шишкову стало скучно на посту. Вдруг он увидел, что лошадь, стоявшая около типографии, забралась на тротуар и закрыла санями путь для прохожих. Обрадованный, что ему наконец подвернулось дело, городской направился в типографию, предвкушая двугривенный, который он сдерет с хозяина лошади.

Но что это? Револьвер и шашка с молниеносной быстротой сняты с блюстителя порядка, а сам он, перепуганный насмерть, сразу поднял руки вверх. Веселый голос командует:

— Пожалуйте, господин городской! Проходите.

Городового ввели в кабинет. А там уже шла мирная беседа. Дьякон, понавь, что ему ничто не угрожает, беседовал с хозяином о городских новостях:

— Вчера в магазин Пророкова партию шапок заячьих привезли. Белоснежных. В один час все продали. Везет Пророкову! Умеет торговать, знает, где какой товар вовремя схватить...

В наборном цехе на столе верстальщика Арсений правил листовку. «Товарищи рабочие! Приближается время выборов во вторую Государственную думу... Мы призываем вас принять участие в выборах. Подавайте голоса за кандидатов Российской социал-демократической рабочей партии. Она борется за полную свободу, за республику, за выборность чиновников народом...»

Наборщики постарались: нет ни одной ошибки. Все идет хорошо. Только позавчера прибыл в Шую единственный экземпляр «Пролета-

рия», в котором напечатан «Проект обращения к избирателям». Арсений знает, кто автор обращения. Так просто, так ясно пишет Ленин.

Чтобы перепечатать обращение в подпольной типографии, потребовалось бы не меньше недели, да и шрифт уж очень подбит — совсем слепой. А здесь, у Лимонова, все новенькое: шрифты, печатная машина. За один час будет готово не меньше двух тысяч экземпляров. Очень хорошо! Уже зашелестели приводные ремни на печатной машине. Вот они — свеженькие, пахнущие свежей краской листовки. До чего же они хорошо удалась! И бумага хороша, в меру плотная. Немного клея — и она накрепко прилипнет к стене фабричного корпуса.

А в кабинете еще гость. Зашел на огонек проведать Лимонова учитель словесности мужской гимназии Водарский. Сидит рядом с дьяконом на диванчике и с любопытством рассматривает охрану.

В кабинет вошел Арсений. Через неприкрытую дверь видно, как рабочие выносят пачки с листовками. Одна, две, три... Водарский соображает: видно, много напечатали эти молодцы противоправительственной литературы. Недурно бы почитать, что они там сочинили...

Часы пробили восемь. Лимонов вздрогнул. Боже мой! Уже два часа хозайничают в его типографии большевики. Что-то будет!

Арсений прощается:

— До свиданья, господа! Извините, так сказать, за беспокойство. И еще: не рекомендую выходить после нашего ухода на улицу минут десять — пятнадцать. Телефоном пользоваться, к сожалению, пока нельзя: он отключен. Еще раз до свиданья...

Хлопнула тяжелая входная дверь. Но еще стоит около телефона молодец в белой заячьей папахе, с револьвером в руке. Стрелка у часов как будто стоит на одном месте. Прошла минута, вторая, третья... Наконец и этот покидает типографию. Он ничего не сказал на прощание, только слегка кивнул головой. Еще раз хлопнула дверь. В типографии тихо. Дьякон вскочил с дивана и вылетел на улицу, пугая редких прохожих истошным воплем:

— Караул! Помогите!..

Его высокоблагородие сам господин Лавров лично прибыл в типографию. Городовые и жандармы перевернули все вверх дном, стараясь найти хоть какой-нибудь след, но так ничего и не нашли. Допросы рабочих также ничего не дали. Все словно сговорились:

— Было семь человек. Кто такие — не знаем.

Не помог и городской Шишков. Бестолковый постовой твердил одно и то же:

— Видел троих. Все в белых заячьих шапках.

К полуночи человек двадцать в белых заячьих шапках были

доставлены в полицейское управление. На допросе все задержанные показали, что купили шапки вчера в магазине Пророкова.

Самым последним из полиции выпустили учителя словесности Водарского. Проходя мимо аптеки, он подумал, что не худо бы купить эфирно-валерьяновых капель, а то как бы чего не случилось ночью с сердцем — наволновался... На углу, возле аптеки, — афишная тумба. Из больших окон аптеки на тумбу падал яркий свет. «Шуйское землячество студентов объявляет бал». Чуть повыше — продолговатый листок. Водарский надел очки и прочитал:

«Товарищи рабочие! Приближается время выборов во вторую Государственную думу...»

## КАМЕРА СМЕРТНИКОВ

— Снимай все!

— Если вы будете на меня кричать и говорить мне «ты», я не пошевелю ни одним пальцем.

— Подумаешь, какое вашевысокоблагородие! Я говорю — снимай!.. Ну, снимите с себя вашу курточку. Вот так... очень хорошо. А теперь получите, пожалуйста, казенную форму. Великовата немного. Не беда, вам ее долго носить не придется. Ботиночки, простите, не жмут? Тоже не беда, далеко ходить не надо будет...

— Дайте другую пару, эти не годятся.

— Здесь не обувной магазин. Какие даю, такие и бери...

— Дайте другие. Иначе я в своих пойду.

— В своих не положено. Держите...

Арсений деловито осмотрел пару неуклюжих, грубых башмаков, сшитых, по всей видимости, здесь же, в тюрьме, арестантом-сапожником, постучал пальцами по подметкам, помял кожу:

— Эти будут хороши. В самый раз.

Тридцать лет служит во Владимирском центре надзиратель Наседкин. Весь высох, пока добился выгодного места начальника вещевого склада. Был коридорным надзирателем, этажным. Не одну тысячу арестантов, политических и уголовных, провел он по длинным коридорам и захлопнул за ними тяжелые, окованные железом двери камер. Много всяких людей повидал Наседкин. Но вот такого видит впервые. Человека одевают в казенную форму последний раз. Сведет сейчас Наседкин его в мастерскую к своему приятелю Хвостову, наденут там этому парню ручные и ножные кандалы, и поведет он его дальше в камеру, из которой только один выход — во двор, к деревянному помосту, к двум столбам с перекладиной.

А он, чудак, башмаки выбирает покрепче, словно не знает, что до помоста и сотни шагов не будет.

— Обулись?

— Сейчас... Все. Готов.

— Пошли дальше.

Впереди Наседкин, за ним в трех шагах, как положено по тюремному правилу, идет Арсений. С обоих боков — конвойные, позади — унтер-офицер. В правой руке у него пистолет. По уставу, пистолет должен быть в расстегнутой кобуре. Но унтер-офицер предупрежден: преступник только что приговорен военным судом к смертной казни через повешение, и смотреть за ним приказано строго.

«Пытался, говорят, недавно бежать из тюрьмы. А может быть, начальство просто нагнало страху для большей остратки. Разве можно отсюда убежать! Куда там! А все-таки скорее бы сдать под расписку».

Вот и мастерская. Хвостов молча надел Арсению на руки и ноги кандалы. Арсений шагнул. Кандалы глухо, мертво стукнули.

Вспомнились стихи любимого поэта, Николая Алексеевича Некрасова:

Я им завещаю железный браслет...  
Пускай берегут его свято:  
В подарок жене его выковал дед  
Из собственной цепи когда-то...

Мысли бегут и бегут. Впереди еще три дня. Три дня! Их надо хорошо прожить, чтобы не было стыдно перед товарищами. Только не надо волноваться. Надо что-то придумать, заняться чем-нибудь...

Наседкин командует:

— Пошли дальше!

До чего же длинны тюремные коридоры! И ни одной живой души, кроме этого злого старика и конвойных. Солдаты идут молча, стараются не смотреть на Арсения. Поворот. Коридор стал уже. Еще поворот, три ступени вверх — и впереди опять длинный, совсем узкий коридор. Конвойные идут почти вплотную к Арсению. Чья-то рука жмет Арсению руку. Сует в руку записку. Записка зажата в кулак. Нет, так нельзя — могут найти. Надо наклониться и опустить записку в башмак.

Асений споткнулся и встал на одно колено. Один миг — и записка уже в башмаке. Наседкин, ядовито улыбаясь, говорит:

— Не привыкли к железам... Ничего, стерпитесь — слюбится.

Конвойные идут все так же молча, сурово, стараются не смотреть на Арсения. Только второй справа украдкой посмотрел один раз.

Коридор кончился. Камера без номера. Узкая низенькая дверь. Вместо обычного одного глазка у этой двери два. Около двери — надзиратели. Один сидит на табуретке и пьет, побрякивая, чай из большой жестяной кружки. Он удивительно похож на Наседкина. Такой же худой, с редкой бороденкой и, видно, ко всему равнодушный. Посмотрел на Арсения и продолжает дуть в кружку.

Второй — толстый, как откормленный боров. И глаза даже как у борова — крохотные, с белыми ресницами. Взял у унтер-офицера прошнурованную книгу, внимательно прочитал, достал из заднего кармана химический карандаш и не спеша расписался. Затем вставил ключ, но дверь еще не открывает. Худой надзиратель поставил кружку на табуретку и ловко, почти неслышно запустил руку в карман к Арсению, расстегнул бушлат. Конвойные повернулись лицом к Арсению. Один, тот, что передал записку, пристально смотрит на Арсения. Арсению очень хочется сказать ему что-нибудь хорошее, поблагодарить за смелый поступок, и он говорит:

— Спасибо, солдаты! Хорошо довели.

Унтер-офицер замахал пистолетом:

— Молчать! Отставить! С конвоем разговаривать строго запрещается.

Но солдат понял. Чуть заметная улыбка пробежала по лицу.

Распахнулась дверь. Арсений переступил порог, и дверь тотчас же с силой захлопнула. И сразу ничего не стало слышно. В камере смертников, кроме Арсения, никого больше не было.

Сначала Арсению показалось, что надзиратель открывает глазок и смотрит в камеру нерегулярно, а как ему вздумается. Затем Арсений нашел пульс и стал считать:

— Один, два, три... десять... двадцать...

Вышло, что надзиратель подходит к двери, как только Арсений насчитывает 48. Очевидно, посмотрев в глазок, надзиратель доходил по коридору до поворота и возвращался к камере. Арсений десять раз проверил свои наблюдения — все время получалось 46—48. Следовательно, надо сначала достать записку из башмака и зажать ее в кулаке. Потом, как только надзиратель отойдет, подойти к более светлому месту, напротив двери, и, считая до 48, успеть прочитать и спрятать записку.

Все удалось блестяще.

«Дорогой Арсений! Мы все знаем. Верим в тебя. Знаем — тебя никто и ничто не сломит. Мы тебе пока ничего утешительного не обещаем, но принимаем меры. Крепко тебя обнимаем».

Подписи не было. Арсений перечитал записку еще раз и, разорвав на мельчайшие кусочки, проглотил. Очень жаль было уничтожить последний привет с воли, но хранить нельзя: могут неожиданно войти, обыскать. Нет, конспирация прежде всего.

Он сел на широкие деревянные нары. Чувства одиночества уже не было: он был не один. Через толстые, глухие стены тюрьмы в холодную камеру смертников донеслась весть от верных друзей.

К концу второго дня привели старика крестьянина Ивана Васильевича Соколова, осужденного за убийство урядника и поджог усадьбы помещика Ярцева. Кратко изложив Арсению, кто он и за что попал в эту страшную камеру, Соколов лег на нары:

— Спать хочется. Устал я очень. Надо вздремнуть.

Через час дверь снова открылась, и в камеру втокнули высокого, широкоплечего человека с черными усами. Он тотчас же забарабанил огромным кулаком в дверь. Надзиратель через глазок спросил:

— Чего тебе?

— Пить дайте.

— Не шуми, тут тебе не ресторан. Не видишь — бачок с водой. Пей сколько хочешь.

Черноусый налил полную кружку, выпил не отрываясь. Налил вторую и стал пить маленькими глотками:

— Хорошо! А то в горле пересохло. Горит все! Ну, а теперь давайте знакомиться. Григорий Орлов, матрос Балтийского флота, крейсера «Изумруд». Приговорен к смертной казни за... А впрочем, не все ли равно, за что они меня лишают жизни!

Арсений пытливо посмотрел на Орлова:

— С «Изумруда»? Был в Цусимском бою?

— Так точно, был. Насмотрелся, как русский флот адмирал Рожественский погубил. Видел, как на русских боевых кораблях японский флаг поднимали. Все видел!

— На вашем корабле японского флага не было.

— Верно.

— Ваш командир капитан второго ранга барон Ферзен мог довести быстроходный «Изумруд» до Владивостока. Струсил.

— Верно! Струсил... А ты на каком корабле служил?

— Во флоте я не был.

— Кто же вы, братцы?

Соколов слез с нар и встал напротив Орлова:

— Кто мы? Раз в этих хоромах вместе с тобой находимся, стало быть, хорошие люди.

Орлов сел рядом с Арсением, обнял его за плечи и сказал:

— Много нашего брата кончают. В Петербурге и Кронштадте все тюрьмы переполнены. Меня вот сюда прислали. Здесь и судили. Втихомолку, чтобы матросы ничего не узнали. Матросы им еще покажут!.. Сколько тебе лет, парень? Совсем ты еще молодой!

Соколов тихо произнес:

— Ничего, что молодой. Таких дел натворил...

Орлов посмотрел на старика и спросил:

— Вы вместе? По одному делу?

— Действовали врозь, а дело как будто одно.

Арсений удивленно посмотрел на Соколова:

— Вы меня знаете?

— А кто же тебя в нашей округе не знает! Помнишь, к вам в Иваново-Вознесенск, в Совет, мужики из Майдакова приезжали — спрашивали, как землю помещичью делить?

— Помню, отлично помню.

— Ну, так вот я в этой депутатии тоже был.

Арсений протянул Соколову руку:

— Простите, товарищ, что я вас сразу не узнал.

— Я тебя сразу признал. Все думал — назвать тебя иль виду не показывать, что я тебя знаю. В тюрьме лишнего болтать нельзя, эти крючки прицепиться могут.

Арсений шутливо сказал:

— А я вижу, ты человек опытный.— И уже серьезно добавил: — Нет, товарищ Соколов, теперь мне ничто уже не повредит.

Соколов, тяжело вздохнув и расстегнув воротник рубахи, словно он его душил, ответил:

— Скорее бы! Очень трудно, товарищ Арсений, ждать...

Орлов, внимательно слушавший их беседу, громко переспросил:

— Арсений? Ты Арсений? Ну здравствуй, товарищ! Я, пока в общей камере сидел, много о тебе слышал. Очень рад, что последние часы своей жизни с тобой проведу...

Они так и не спали всю ночь. Орлов рассказывал о походе эскадры адмирала Рожественского из Кронштадта до острова Цусима.

Арсений слушал, как всегда умел он слушать людей,— терпеливо, не перебивая. Знакомые по школьным занятиям названия далеких морей и портов оживали в рассказах матроса.

— После Мадагаскара наша эскадра взяла курс к Зондскому архипелагу...

Казалось, собрались три друга после разлуки и беседуют о самом милом, душевном. Но задвижки у глазков непрерывно хлопали, напоминая о тюрьме, о страшном приговоре.

В три часа утра они услышали, как заскрежетал в двери ключ. Матрос вскочил с нар и вопросительно посмотрел на Арсения. Арсений помог подняться Соколову и спокойно сказал:

— Это за нами, товарищи.

Дверь широко распахнулась, и в камеру вошли несколько надзирателей. В коридоре стояли конвойные солдаты с винтовками. Кто-то негромко, деловито сказал:

— Орлов, собирайся в контору!

Матрос сразу же шагнул вперед, потом повернулся к Арсению, протянул к нему руки:

— Прощай, дорогой! Зовут...

Он крепко пожал Арсению руку, обнял его и поцеловал. Так же попрощался с Соколовым.

— Не тужи, дед!.. Я им не даром в руки дался. Долго они будут помнить Григория Орлова!.. Эй вы, стража господня! Пошли!

И Орлов громко, сильным голосом зашел:

Смело, товарищи, в ногу,  
Духом окрепнем в борьбе...

Сомкнулся вокруг него конвой. Захлопнулась дверь, а голос Орлова гремел и гремел:

К царству свободы дорогу  
Грудью проложим себе.

Соколов лег ничком на нары и зарыдал. Арсений молча ходил по камере. Стучали на ногах кандалы...

Через полчаса дверь снова распахнулась. Тот же голос деловито произнес:

— Фрунзе, собирайся в контору!

Было еще совсем темно и очень холодно. Над узким тюремным двором висело черное звездное небо. Около деревянного помоста, на утоптанном снегу, лежало что-то длинное, покрытое рогожей.

Арсения подвели к помосту. Никто ничего не говорил. Было очевидно, что все эти люди — конвой, врач, стоявший в отдалении, священник, тюремное начальство — совершают привычное им дело. У столба стоял высокий человек в овчинной тужурке, с открытой головой. Он бросил на помост окурок, придавил его ногой и, обдавая Арсения запахом махорки, снял с него шапку.

Арсений брезгливо отодвинулся от него и сам встал перед перекладиной.

Было очень тихо, только где-то далеко лаяла собака.

Потом несколько раз на станции свистнул паровоз. От кучки тюремной администрации отделился начальник тюрьмы Гудима и громко скомандовал:

— Отставить!

Палач, не поняв сразу, в чем дело, переспросил:

— Что вы сказали, ваше благородие?

— Отставить! Перепутали. Не того привели...

Это была неправда: тюремное начальство не ошиблось. Арсения обрели на страшную пытку.

Его много раз выводили ночью во двор, к помосту, и, продержав возле виселицы, уводили обратно в камеру смертников.

А она в то страшное для России время никогда почти не пустовала. Разные люди проводили в камере свои последние часы. Больше всего было политических, но иногда приводили приговоренных к смерти уголовников. По-разному вели здесь себя люди. Некоторые молчали,



тупо уставившись в одну точку. Иные бушевали, переругивались с охраной. Уголовники иногда плакали и кричали. За два месяца через камеру прошло пятьдесят девять человек. Трое из них сошли с ума в первую же ночь.

Тюремный врач передал Арсению две книги. Одна, без обложки, оказалась учебником английского языка, вторая — «Введение в изучение нравственности и права» Петражицкого. Ничего, казалось, не было бесполезнее на этом свете — в камере смертников вникать в основы нравственности и права и изучать чужой язык. Но Арсений был чрезвычайно рад книгам.

Однажды в камеру впихнули депутата Иваново-Вознесенского Совета старика Афанасия Тощева. Увидев Арсения, похудевшего, бледного, Тощев бросился к нему и, как будто боясь, что ему не дадут высказать все, торопливо заговорил:

— Что они с тобой сделали! За что они тебя так мучают?

Арсений усмехнулся и ответил:

— Ждут... ждут, когда я английский язык выучу.

Ночью он лег на нары рядом с Тощевым, закинул за голову скованные руки и долго молчал. Услышав тяжелый вздох Тощева, он сказал:

— Все бы ничего, только вот сплю плохо. Очень мне, Афанасий Петрович, выспаться хочется, а мне не спится...

На рассвете увели и Тощева, а об Арсении как будто позабыли. Больше месяца его не вызывали в контору, не выпускали на прогулку. Он ни разу не спросил, когда кончатся его муки. Все так же спокойно ходил он по камере, вслух заучивая английские слова:

— «Лайф» — это значит «жизнь». «Фридем» — «свобода»...

На шестьдесят восьмые сутки его вызвали из камеры днем и привели в кабинет начальника тюрьмы Гудимы. За столом начальника сидел пожилой полковник корпуса жандармов. Больше в кабинете никого не было. Полковник ровным глухим голосом очень вежливо сказал:

— Здравствуйте, Фрунзе! Садитесь. Я прибыл сюда из Петербурга и вызвал вас для разговора по очень важному делу.

— Я очень сожалею, что вам так далеко пришлось ехать.

— Вы догадываетесь, зачем я вас вызвал?

— Нет.

— У вас есть шанс остаться в живых.

— Какая цена за этот шанс?

— Ваше чистосердечное раскаяние, прошение на августейшее имя его величества государя императора.

— Можно уточнить?

— Да, конечно.

— Как вы понимаете чистосердечное раскаяние?

— Полный рассказ обо всем содеянном, отказ от дальнейшей деятельности на этом... поприще и самое главное — публичное заявление об отходе от ваших единомышленников.

— Ясно. Теперь вы будете мне говорить, что я еще молод и что мне еще надо жить и жить. Потом вы скажете, что революция подавлена.

— Вы почти угадали. Только о том, что революция подавлена, я вам говорить не буду. Об этом вам скажут ваши друзья. В одной из передач обнаружена записка, которую должны были передать вам. По инструкции, я не могу сообщить вам ее содержание... но уж, так и быть, скажу. Там сказано: «Вода пошла на убыль».

Арсений встал, лицо его было спокойно, сосредоточенно, и только мелькнула в глазах насмешка. Он иронически сказал:

— По своей инструкции, я не имею права говорить, что это значит. И не скажу.— Затем Арсений посмотрел в упор на насторожившегося полковника и спросил: — Мне можно уйти?

Полковник, как будто не слыша вопроса, достал из золотого портсигара короткую, толстую папиросу, закурил и произнес:

— Если вы решите написать царю, вас, конечно, помилуют. Даю вам слово. Потом, после сравнительно легкого наказания, вы сможете уехать за границу. Париж! Боже мой! Из этой затхлой атмосферы, из вонючих камер — и вдруг Париж, Елисейские Поля, бульвары, опера...

— Там есть еще кладбище Пер-Лашез.

— Я вас не понимаю.

Арсений внятно, чеканя каждое слово, повторил:

— Кладбище Пер-Лашез. Стена, у которой расстреляны коммунары.

Полковник, пуская колечки дыма, игриво продолжал:

— Ну, если не хотите во Францию, тогда можно махнуть за океан. Америка, страна свободы...

Арсений перебил его:

— Где вешают негров...

— Я вижу, вам нигде не нравится. Ну что ж, можем дать паспорт в Италию.

— Я никуда не поеду. Я люблю свою родину, Россию. Если бы не вы, она была бы лучшей страной в мире.

— Вы так полагаете?

— Я в этом уверен.

Полковник тоже встал и, оставив игривый тон, торжественно произнес:

— Триста лет стоит дом Романовых и будет стоять еще тысячу! Разве можно детской рукой сокрушить колокольню Ивана Великого!..

Арсений перебил его:

— Вы ошибаетесь!

— Как вы самонадеянны! — воскликнул полковник, опускаясь в кресло.

— Нет,— сказал Арсений,— это вы близоруки. За феодализмом пришел капитализм, за капитализмом придет социализм, как день приходит за ночью.

Полковник, не скрывая иронии, спросил:

— Это по вашему Марксу?

— Да, по нашему Марксу и по нашему Ленину.

— Читал, читал. Все очень туманно и не совсем понятно.

— Не всякому дано понять. Иван Андреевич давно об этом писал.

— Какой Иван Андреевич?

— Крылов. Помните: «Невежи судят точно так: в чем толку не поймут, то все у них пустяк...»

Полковник деланно рассмеялся:

— А вы злой! Забияка... Ну, хватит спорить!.. Так как, напишете прошение о помиловании? Нет? — Полковник вскочил. От его кажущегося спокойствия не осталось и следа.— Не забывайте, что вы смертник!

— Я об этом отлично помню. И если вы будете на меня кричать, я с вами не буду разговаривать.

— Врешь! Заговоришь, когда к петле потянут! В ногах валяться будешь!

— Не дождетесь!

Арсений прислонился к стене, ощущая затылком холод каменной стены, окрашенной темно-серой масляной краской. Он был бледен, глаза потемнели, губы крепко сжались.

Полковник позвонил, и сразу вошел конвой.

— Убрать! В карцер! Во двор, к эшафоту!

Арсений вышел из кабинета твердым шагом, не спеша, гордо подняв голову.

Полковник бушевал, срывал злость на начальнике тюрьмы:

— Распустили! Книги ему дали!

— Все делали по инструкции,— оправдывался Гудима,— не отклонялись ни на йоту. Виселицу показывали — никакого впечатления. «Веревки,— говорит,— у вас, что ли, не хватает, что так долго со мной тянете?» В одиночке держали. Опять ничего. Посмотришь в глазок — а он или поет тихонько, или стихи декламирует. А по утрам гимнастикой занимается.

— Я вижу, даже вы им восхищаетесь!

— Ну, я, знаете, далек от этого. Не первый год с этим народом воюю.

Полковник достал из портфеля лист бумаги и недовольно сказал:

— Самое неприятное, что я все-таки должен объявить о замене смертной казни каторгой.

— Что? Есть такое решение?

— К сожалению, есть.

Гудима удивленно пожал плечами:

— Не понимаю... Таких надо только вешать.

Полковник снисходительно сказал:

— Вздернуть нетрудно. А вы не хотите, чтобы вокруг стали все фабрики? Рабочие следят за каждым нашим шагом. А за Фрунзе они горой встанут. Вот и была поставлена цель — заставить его отказаться от своих убеждений. Вы понимаете, какое впечатление произвело бы на рабочих его заявление на имя царя о помиловании! Знаменитый Арсений стал тих, как кролик!

— Ну, этого тигра в кролика не превратить! Я за ним ежедневно наблюдаю...

Полковник выпил воды, снова закурил и, расхаживая по кабинету, сказал:

— Давайте его сюда.

— А вы не сразу ему объявляйте. Может, еще подпишет.

Войдя в кабинет, Арсений звякнул кандалами и встал у самой двери.

Полковник подошел к нему, положил на плечо руку и примирительно произнес:

— Видите, Фрунзе, я терпеливее вас. Хочу еще раз с вами поговорить.

— Бесполезное занятие.

— Я советую вам еще раз подумать о просьбе на имя государя.

Арсений освободил плечо от руки:

— Как с вами скучно, полковник!

— Это ваше последнее слово?

Арсений, не выдержав, рассмеялся.

— Самое последнее! Разрешите мне уйти.

— Черт с вами! Нате, читайте.

— Что это еще за фокусы?

Начальник тюрьмы подтолкнул Арсения ближе к свету:

— Читайте, Фрунзе, читайте! Это очень интересно для вас.

Арсений взял у полковника бумагу с гербом. Ему бросились в глаза заключительные слова:

«А посему заменить ему, Фрунзе, смертную казнь ссылкой в каторжные работы...»

В груди как будто что-то оборвалось. На мгновение закружилась голова, стало трудно дышать. Усилием воли он овладел собой и, возвращая полковнику постановление, весело сказал:

— Это действительно неплохо!

Полковник назидательно сказал:

— Не понимаю, чему вы радуетесь? Каторга — это не пикник. Может быть, когда у вас выпадут зубы и вылезут волосы, вас отправят на поселение. Сибирь — она, знаете ли, не шутит!

Арсений, не в силах больше сдерживать свою радость, возбужденно сказал:

— Сибирь не страшна! Туда дорога одна, а обратно дорог много!

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Каждый год, наголодавшись за последние зимние месяцы и весну, рабочие Шуи, Иваново-Вознесенска, всей ситцево-ткацкой округи с нетерпением ждали свежих овощей. В хорошее, в меру дождливое, теплое лето к началу августа поспевали огурцы, можно было выдергивать морковь, свеклу. Через неделю-другую появлялась картошка-скороспелка с прозрачной бледно-фиолетовой шелухой. А это да еще плюс зеленый лук было уже совсем роскошной пищей.

Весна 1917 года выдалась особенно тяжелая. В магазинах совсем исчезло пшено, гречневая крупа и постное масло. Все надежды оставались на картошку, но и ее было мало. В мае на базаре возле возов с картошкой вырастали длинные хвосты. То и дело раздавались крики: «Много не давай!», «Хватит по одному ведерку!» Кое-кто из покупателей пытался встречать возы за городом, но мужики упрямились, не торопились продавать, как бы не продешевить,— спешили в город узнать настоящую цену.

Весь апрель и май стояла необычная теплынь, даже сушь. Картошку и овощи сажали в серую, пыльную землю. А потом начались холода и дожди. Они шли с небольшими перерывами, почти весь июнь и июль — и это было несчастьем: на залитых водой полях ничего не росло. Начинался август, а картошка была мелкая, как горох.

И тогда на базарах появились предвестники голода — большие серые плиты жмыха. Их называли по-разному: кто «колоб», кто «дуранда». К жмыху, которым в хорошие времена кормили скот, добавляли немного муки и пекли темные лепешки. Через час после выпечки они становились каменными.

А тут еще исчезли соль, керосин, спички.

Одна за другой останавливались фабрики: не хватало хлопка, нефти и угля.

В марте — апреле возвращались один за другим из тюрем и ссылок большевики. Казалось, что этот поток неиссякаем. Вспоминали: «Вот придет Николай Сизов», «Баландина еще нет», «Малышев где-то застрял».

Но Сизов, как и многие другие, так и не вернулся: остался в безвестной могиле, вырытой чужими людьми в холодной сибирской земле.

Больше ждать было некого, и оказалось, что старых большевиков в Шуе собралось мало, а дела по горло.

У кадетов своя типография, газета «Шуйские известия», листовки и опытные ораторы: председатель городской думы помещик Романов, ветеринарный врач Невский. У них же — субсидии общества фабрикантов и заводчиков.

У эсеров в руках уездный совет крестьянских депутатов и уездное земство. Есть такие говоруны, вроде вечного студента Львова,— на любую тему могут разговаривать часами, цветисто, со ссылками на историю и великие имена. Вдобавок появился в Шуе поэт Константин Бальмонт. Давно не бывал в родных краях, а тут прикатил и выступает на всех митингах. Трудно его понять, за кого он — за эсеров, за анархистов или за кадетов. На собрании общества фабрикантов и заводчиков ратовал за свободу деловой инициативы, в городской управе под хмельком разошелся и выкрикивал что-то о Кропоткине. Но ни разу — ни в трезвом виде, ни слегка в подпитии — не высказался господин декадент в пользу большевиков. Случилось, спросили его на митинге: как он относится к большевикам? Бальмонт тряхнул рыжеватой гривой и с иронической улыбочкой развел руками:

— Не слышал-с! Чего не слышал, того не слышал.

У большевиков не было ни своей типографии, ни газеты. Петроградская «Правда» и московский «Социал-демократ» поступали в небольшом количестве и нерегулярно. Ораторов опытных совсем не было, если не считать Игнатия Волкова. А что он один мог сделать против десятка опытных краснобаев!

И вдруг неожиданная радость. Вечером десятого августа по городу с невероятной быстротой разнеслась весть: «Завтра приезжает Арсений... Михаил Васильевич Фрунзе».

На рассвете тихий теплый дождь омыл зелень, прибил пыль на улицах. Первыми в пристанционный садик пришли ситцевики с Павловской фабрики. Следом за ними подошли с Терентьевской и Балинской. К девяти часам, казалось, вся рабочая Шуя с красными знаменами собралась у вокзала. В половине десятого на Большой мост через Тезу вступил сводный воинский отряд. Солдаты двух полков шли без винтовок, но с оркестром. Конечно, впереди, как всегда, бежали мальчишки. Сойдя с моста на Ильинскую площадь, на другой день переименованную в площадь Революции, отряд «взял ногу» и четко зашагал под торжественный марш.

В Ильинской церкви шла служба. Привлеченные звуками оркестра, богомольцы высыпали на улицу. Церковь опустела. Даже причт высунулся из дверей — посмотреть, что там происходит.

Последним к вокзалу проехал в пролетке председатель городской думы Романов. Рядом с ним бочком пристроился редактор «Шуйских известий».

На площади шел митинг. Выступал депутат второй Государственной думы Николай Жиделев.

— Мы встречаем дорогого товарища Арсения, которого десять лет назад, закованного в кандалы, провожали на этом же месте в царскую тюрьму.

Машинист Дмитрий Ветров, тот самый, что когда-то возил Арсения из Иваново-Вознесенска в Шую на паровозе, не доезжая семафора, замедлил ход. Вдоль пути, почти до самого села Мельничного стояли жители ближних улиц и поселка Дубки. Поезд шел словно по широкому, живому коридору.

Фрунзе вышел в тамбур, снял фуражку, махал ею. Иван Лобачев, ехавший с ним, увидел, как он украдкой смахнул с глаз слезы: растрогался от такой неожиданной встречи.

Пробежали мимо домики Заречья, промелькнула водокачка. Вот и низкое, приземистое здание вокзала с черными буквами на фронтоне — «Шуя».

Люди бегут за вагоном, что-то кричат. Сколько дорогих, милых лиц на перроне! Игнатий Волков — сосед по каторжной камере, Николай Шувалов. А это кто пробирается через толпу, размахивает кепкой? Да ведь это Роман Баландин! Конечно, он, только усы отрасли.

Фрунзе не дали ступить на землю. Сняли с подножки, подняли на руки, понесли.

— Товарищи! У меня ноги есть. Товарищи! Ах вы, черти полосатые! Да я же сам ходить могу...

Донесли до трибуны — за ночь сколотили плотники с Небурчиловской фабрики, — осторожно опустили. Жиделев поднял руку. Народ затих.

— Слово предоставляется Михаилу Васильевичу Фрунзе, известному шуянам под партийной кличкой «Арсений».

Раз десять, не меньше, пытался Фрунзе начать речь, ему все не давали, аплодировали.

— Товарищи! Много лет я мечтал о возвращении в Шую...

Романов, стоя в пролетке, криво усмехаясь, бросил редактору:

— Мечтал! Черт принес его сюда. Да что вы все записываете? Дайте завтра в газете пять строк. Хватит с него.

А Фрунзе уже справился с охватившим его волнением. Голос его окреп:

— Скоро полгода, как русский революционный рабочий класс и войска свергли Николая Романова и посадили его под замок. Но трудящиеся люди не стали полными хозяевами своей жизни. Временное правительство, защищающее интересы капиталистов и помещиков, продолжает империалистическую войну...

На площади тишина. Но вот загрела по мостовой пролетка господина Романова, и кто-то крикнул:

— Не понравилось?

— Правительство Керенского хочет задушить большевиков, зовущих народ на борьбу за социализм. Ничего не выйдет у этих господ. Пулей голодных не накормить. Казацкой плетью не стереть слез матерей и жен. Штыком народ не успокоить. Надо готовиться, товарищи, к новым боям...

Фрунзе окончил речь, прыгнул с трибуны. Его окружили, жали руки, обнимали.

— Вот я и дома, товарищи!

Только поздно ночью удалось Фрунзе остаться с близкими друзьями.

— Ты как к нам приехал? По собственному желанию или тебя послали?

— И так и этак,— засмеялся Фрунзе.— Очень хотел побыть здесь, а получилось, вам я это могу сказать, товарищи, что это совпало с желаниями Центрального Комитета и товарища Ленина.

— И надолго ты к нам?

— Пока не прогоните,— отшутился Фрунзе.— На днях только съезжу в Минск, отчитаюсь там перед товарищами и сюда. Жить пока буду в Шуче, а там сообща решим.

Вечером городской Совет рабочих и солдатских депутатов объявил свое решение: «В связи с возвращением дорогого товарища Арсения считать завтрашний день, субботу 12 августа, нерабочим. Все на митинг!»



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Первый день . . . . .	3
Хозяева города . . . . .	10
Он теперь живет в Казани . . . . .	20
В типографии Лимонова . . . . .	29
Камера смертников . . . . .	33
Возвращение . . . . .	43

**Аркадий Николаевич Васильев**

**Рассказы о Фрунзе**

Редактор **Е. Ф. Олейник**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина**

---

Сдано в набор 01.09.85. Подписано к печати 20.11.85.  
А 00426. Формат  $70 \times 108^{1/32}$ . Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 2,97. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 85 000 экз. Изд. № 2974. Заказ № 1626. Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

● Ежемесячно вы обращаетесь в сберегательную кассу, чтобы уплатить за квартиру, электроэнергию, газ, телефон, за детский сад, ясли, обучение детей в музыкальных школах и т. д.

● Одним видом услуг, предоставляемых сберегательными кассами вкладчикам, являются **БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ**. Пользуясь ими, можно экономить свое время и, не посещая сберегательной кассы, производить указанные платежи.

● По вашему поручению сберегательная касса будет перечислять с вашего лицевого счета по вкладу до востребования в обусловленные вами сроки платежи в пользу любой организации на протяжении квартала, года или впредь до отмены этого поручения.

● Сберегательной кассе можно дать поручение и на перечисление какого-либо платежа в разовом порядке. Такое поручение можно также переслать по почте.

● Бланки для оформления длительных и разовых поручений по безналичным расчетам вкладчик может получить в любой сберегательной кассе.

● Экономьте свое время! Пользуйтесь безналичными расчетами сберегательных касс!

Российское республиканское  
Главное управление Гострудсберкасс СССР